

ЛИТЕРА

Литературно-художественный журнал Республики Марий Эл

Издаётся с 2012 года

№ 3

июль-сентябрь 2012 года

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия и проза

СЕРГЕЙ ШЕЛЕПОВ. А по полю жнивьё. Повесть.....	3
КОНСТАНТИН СИТНИКОВ. Женщина в лесу. Рассказ.....	35
АННА ВАСИЛЬЕВА. Легко дышать мне стало невозможно. Стихи.....	38
ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВ. Санькина любовь. Рассказ.....	43
АНАТОЛИЙ СКАЛА. Ландшафт с русской печью. Рассказ.....	59
НИКОЛАЙ ПЕРЕСТОРОНИН. Апостолы родной земли. Стихи.....	67
АЛЕКСАНДР ТОКАРЕВ. Ведьма. Рассказ.....	76
ИРИНА САДОВИНА. Бог намного ближе. Стихи.....	81
ЛЕВ ЯТМАНОВ. На маленькой лесной станции. Рассказ.....	89
НИНА ЖИБРИК. Старики. Слушая Чайковского. Рассказы.....	103
ИГОРЬ КАРПОВ. Короткие рассказы.	109

Памятные записки

АЛЕКСАНДР КОНАКОВ. С дедушкой в церковь. Рассказ. История нашей семьи.	118
ИРИНА КОЛЕСНИКОВА. Птичка над моим окошком.	128
АНАТОЛИЙ ПОДОЛЬСКИЙ. Воспоминания о Саше Смирнове.	135

Критика

АЛЕКСАНДР ЛИПАТОВ. Во всплесках Слова сгустки мысли. Стихотворения	
Геннадия Калинкина.....	140

История и судьбы

СЕРГЕЙ СТАРИКОВ. «Я Истину долго искал...» Жизнь и творчество	
Алексея Тихонова-Лугового.....	145

Учредитель: Правительство Республики Марий Эл

Издатель: Государственное унитарное казённое предприятие «Марий журнал»

Главный редактор
Сергей Витальевич Лоскутов

Редакционная коллегия:

Васютин Михаил Зиновьевич – заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.
Карпов Игорь Петрович – профессор кафедры русской и зарубежной литературы Марийского государственного университета, доктор филологических наук.

Лоскутов Сергей Витальевич – начальник управления общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл.

Николаев Валерий Владимирович – писатель, член Союза писателей России.

Подольский Анатолий Анатольевич – поэт, член Союза писателей России.

Попов Вячеслав Григорьевич – писатель, член Союза писателей России.

Сагирова Алевтина Александровна – поэтесса, член Союза писателей России.

Стариков Сергей Валентинович – профессор кафедры отечественной истории Марийского государственного университета, доктор исторических наук.

Щеглов Сергей Африканович – редактор журнала «Марийский мир – Марий Сандалык».

Адрес редакции и издателя:
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. 70-летия Вооружённых Сил СССР, д. 20

E-mail
loskutov@gov.mari.ru
afrik60@mail.ru
Anatolij@Podolskij.ru

Автор обложки – народный художник России Александр Сергеевич Бакулевский.

Подписано в печать 10.10.2012 г.

Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 10 усл. печ. л.

Тираж 999 экз. Заказ 558.

Отпечатано в Марийском рекламном-издательском полиграфическом предприятии.

424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 8г .

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отклонённые рукописи сохраняются в течение года. Рукописи, присланные по электронной почте, не рассматриваются. Материалы принимаются только в распечатанном виде по адресу редакции.

СЕРГЕЙ ШЕЛЕПОВ

А ПО ПОЛЮ ЖНИВЬЁ

Повесть

«В холодильнике – холод, в морозилке – мороз. Что завтра жрать?» – я закрыл холодильник и, повернувшись к стене, выдрал вилку из розетки. Громоздкий прибор фыркнул недовольно, дёрнулся и замолк.

Куда же утром отправиться в поисках заработка? Может, хватит ломать голову? Ведь есть контора, в которую возьмут, где заработки неплохие, и зарплату более чем на два месяца не задерживают. Но... Опять изыскания.

Нет уж... Только по приговору суда в ту контору, чтоб ещё на пятнадцать лет без права на отпуск и, желательно, без выходных. Даже снилось такое недавно - пожизненно приговорили к изыскательским работам на пользу «мировому капитализму и олигархам». Нет уж, лучше ночами по помойкам шарить, чем с холопским хомутом на шее колбасу жрать в ожидании Юрьева дня...

На «биржу» заглянул вчера. Думал, куда-нибудь грузчики требуются. Куда там... Самая нужная ныне и престижная это работа, оказалось. И тут прокол.

На шофёра можно поучиться пока, права не помешают. Но там полтора миллиона рублей требуют за обучение, а где их взять? Неплохая перспектива - после института в ПТУ поучиться, вроде как в аспирантуре...

Пытался страховой деятельностью заняться, но кинули меня страховщики просто эффектно. Лапши на уши навешали, мол, месяц без зарплаты поработай, прояви себя, а потом контракт заключим, и будешь получать процент от заключённых договоров плюс оклад в миллион рублей. Обрадовался, целый месяц носился днями по разным конторам; вечерами по домам, пытаюсь застраховать-облагодетельствовать людей. Куда там... У кого деньги есть, те и без меня знают, как и где себя застраховать. Тем же, у кого этих денег нет - на кой чёрт жизнь такую страховать...

Результат страховой деятельности моей можно было сразу предугадать. Болван самый натуральный. За месяц чуть более десятка всё-таки

Шелепов Сергей Евгеньевич родился в 1955 году в Свердловской области. Автор 2 книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Йошкар-Оле.

договоров страхования заключил. Принёс их в фирму эту поганую, сдал. Дамочка сидит в «предбанничке» - с ногами до шеи, с юбкой до ушей, учитывая да разлюбезная – страсть. Знала, по какому делу пришёл, залебезила.

– Здравствуйте, Анисим Феокистович. Наша компания благодарит Вас за проделанную работу. Присядьте, пожалуйста. Вам кофе или чаю?

Давно я кофе хороший не пил. Разомлел от учтивости предбанной проשמандовки.

– Кофейка мне, пожалуйста. Не откажусь.

Кофе налила шустро мамзелька, ни одного лишнего движенья не сделав, но в такую мелкую чашечку, что обидно стало немного: пусть бы кофе норму положила, а воды побольше налила, чтоб удовольствие продлить – всё-таки из водохлёбов я. Предки у самовара ведёрного вечерами просиживали.

А ныне вон какие нравы – напёрсточек нацедили и пей, делай вид, что удовольствие неслыханное получаешь, а про себя плюйся и матерись, сколько влезет. Уж лучше не травили бы душу и чайку налили побольше. Стакан бы, а не напёрсточек.

Бумаги мои мамзель взяла и мне предложила подождать несколько минут:

– Вы, Анисим Феокистович, посидите, а я бумаги ваши Леопольду Степановичу занесу.

«Несколько минут» почти час длились. Не иначе как в блуд впали там работники страхового бизнеса. Хоть бы кофейку побольше налили, я б не возражал – делайте, что хотите, а мне дайте почувствовать принадлежность к «деловому миру».

Наконец выпорхнула девица-синица:

– Анисим Феокистович, Леопольд Степанович Вам благодарен. Но сегодня он очень занят – ответ завтра даст во второй половине дня, так что заходите. Мы Вам всегда рады.

Рады мне не очень были, когда я на другой день вновь пришёл в фирму эту. Даже не признала меня будто мамзель длинноногая:

– Вам чего, гражданин? – встретила она вопросом, в коем от бывлой любезности ничего уж не осталось.

Но после некоторой паузы, пошевелив, верно, куриными мозгами, глаза удивлённо выкатила и улыбку какую-то выдавила на личике своем размазюканном и туалетно-мраморном.

– Анисим Феокистович? Добрый день. Вы за ответом пожаловали?

– Да-а... – несколько заискивающе ответил мамзели.

Тут она поморщилась слегка, будто недоумевая и не понимая, а, может, просто посчитала меня очень бестолковым. Дескать, не понял, что ли – выпроводили вчера тебя, дурака, надолго-навсегда и бесповоротно. Но пересилила себя, ибо понимает, что и сама не бог-весть какая величина. От якшанья со всяким сбродом, являющимся и шатающимся везде

и всюду, не ограждена, а, следовательно, сама и должна пресекать все попытки «элементов» проникнуть в святая святых - запретные апартаменты Леопольда Степановича. Причём, стоять на своём рубеже должна насмерть, а то в противном случае лишится тёпленького, но зыбкого своего местечка.

– Вы знаете, Анисим Феокистович, – миролюбиво и даже сочувственно обратилась ко мне наконец мамзелька – должна и вынуждена Вас разочаровать. Дело в том, что для испытуемых у нас есть норма - за месяц заключить не менее шестнадцати договоров. Вы же только четырнадцать оформили. Компания Вам благодарна. И мы надеемся, что Вам всё-таки повезёт. Не отчаивайтесь...

Произнеся эту казённую речь, девица отвернулась к окну и замерла в позе задумавшейся цапли.

«Вот зараза, даже кофию не предложила...» – с обидой подумал я и пошёл прочь из гнусного заведения. А пока брёл до своей конуры, размышлял о том, что коммунизм до сих пор строим. Сначала большевикам своим горбом светлое будущее сотворили. Теперь вот всяким жуликам да прохиндеям лепим его. Как были пращурсы мои простодырыми пахарями, везущими на горбу боярско-помещичьих большевиков-толстобрюхов в рай, так и последующим поколениям предстоит радикулит наживать на извозе грядущих спиногрызов в новые «эдемы».

Изживётся ли такое проклятье когда-нибудь?

Одно успокаивало – целая страна таких непуганных идиотов. И ничего с этим не поделать. Кабы другими были, давно бы всю нечисть воровскую загнали в такую прорву, из которой никогда этой погани не вылезть, а пока живи да терпи.

И учись. Вот только учиться не у кого, а своих мозгов, верно, не хватает, чтоб такую премудрость уяснить...

Телевизор включил, чтоб под его лопотанье уснуть. Не спалось. И мысли вольно или невольно вернулись к заботе о хлебе насущном. Снова встал и отправился на кухню. Холодильник из «пищеоборота» выведен и заглядывать в него нечего. Зато в посылочном ящике под раковиной на кухне обнаружил три картофелины и морковку; в настенном шкафчике нашёлся пакет «Супа овощного». На простенькую похлёбку провиант, значит, имелся. Ещё бы хлебушка.

В том же шкафчике нашлось и с десяток засохших корок хлеба, уложенных в матерчатый мешок во времена относительного благополучия. Ещё обнаружились приправы - перец горошковый с лавровым листом.

«Ущицы б сварганить...» – неожиданно осеняет меня. Вот только места здешние не рыбные. Кроме малявок ничего в нашей речушке, что протекает в сотне метров от моего дома, не поймать.

Однако в моём положении то ли холостого, то ли уже не женатого и это какой-то выход.

Жена, не выдержав моих исканий смысла житейского, ещё в добрые застойные времена, когда дела мои шли лучше не придумаешь, покинула меня, забрав дочку. Необъяснимый разлад внутри себя и с окружающими приобретал, говоря словами бессмертных классиков, необратимый антагонизм. От этого семейный наш корабль вынесло на речку с реверсивным течением, кое разодрало утлый наш ковчежишко на две части и понесло каждую из них в противоположные стороны. И расстояния между нами увеличились на сегодняшний день на много парсеков.

О жене задумался, а глаза мои будто поднялись к потолку, взирая оттуда на покоящуюся плоть с жалостью и сочувствием.

«Не иначе «погнал»... Раздвоенье личности началось. Шизанусь скоро...» – равнодушно и спокойно, как о чём-то меня не касающемся, подумал о происходящих со мной странных раздвоениях.

Чтоб отвлечься от забот и горестей, закурил «Приму». После двухтрёх затяжек здоровое начало в мыслях стало проявляться.

«Малявок сходить наловить штук полсотни - уха будет. Благо всё необходимое для этого имеется...» – обнаружилось, что на улице давно новый день начался, хотя по времени шестой час утра, город находится ещё в предутренней дреме. И ещё одно открытие – оказалось, поспал неплохо и даже свет на кухне не погасил.

– Не рачительно, Аниська – вслух воспитываю себя – Ох, не рачительно электроэнергию тратишь, змей. Никакой у тебя экономии экономной в доме нет.

Бормочу это уже с каким-то умилением и даже радостью, верно, оттого, что на день предстоящий цель появилась, причём с самого раннего утра. А последнее могло сулить только удачу, ибо мысль, подаренная взошедшим светилом, по языческим поверьям, обещала воплотиться в жизнь вместе с планами партий. Жаль, что мысль эта была о несчастных малявках, а не о другом, более стоящем. А, впрочем, о дарах не торгуйся, а то ни с чем останешься, ещё Пушкин это очень убедительно доказал. А с классиками не спорят, ибо ученье их, если не верно, то всеильно и наоборот.

После эдакого мыслелудия ставлю на плиту чайник и лезу в кладовку за рыбацкими причиндалами. Благо оных со времён изыскательских немало осталось. Для ловли малявок не так и много их требуется - пара-тройка крючков, несколько дробинок на грузила, самой тонкой лески метра три и пара поплавков с зимних удочек. Червяков на реке насобираю – не в Америке живём, куда червяков для рыбаков из Канады завозят. В магазинах ими торгуют, куда не только рыбаки приходят, но и гангстеры, подбирая вместе с различным рыбацким инвентарем (кстати, настолько хорошим, что не грех такой магазин подломить) и долларами из кассы также червяков импортных. Отобранное упаковываю в целлофановый пакет и выбираюсь из кладовки.

Меж тем, чайник уже вскипел и струей пара бил в стенку, будто пытаясь достучаться до непутёвого хозяина, позабывшего в полупустых хлопотах о несчастной, как и сам, прокопчённой и зачуханной посудине. Наскоро попил жиденького чаю с засохшим куском батона. Влез в старую выпцветшую энцефалитку. Напялил на ноги короткие сапоги и, прихватив пакет с рыбацкими делами, выхожу на улицу.

Тихое августовское утро охватывает меня доброй прохладой, будто изливая всю благодать нерастраченную-отмеренную на предстоящий день неземным хранителем радости и счастья в большей мере на тех, кто в ранний час отправился в путь близкий ли далекий. Вдыхаю прохладный воздух всей грудью, а руки меж тем непроизвольно тянутся за сигаретами - что тут поделать? Такова натура, её не переделать. Однако, на радость утренней свежести, прячу пачку сигаретную обратно - две сигареты всего в ней осталось. Откладываю курение до того момента, как заброшу удочку. Чтоб отвлечься от этой незадачи, думаю о предстоящей рыбалке и ещё о чём-то малозначащем, но присутствующем в нас и заполняющем минуты, которые не остаются в памяти, но живут в нас. Ведь и мы живём в эти минуты. Утро же - целое будущее, а день грядущий (он ещё весь впереди) даже в самые тяжкие времена дарит надежду...

По Набережной улице иду метров четыреста, чтоб за город выбрать-ся. Не в этой же помойке напротив домов многоэтажных рыбу ловить. За городом ещё поднимаюсь вверх по речушке с километр, чтоб удалиться от шума и грохота просыпающегося «муравейника», а в голове что-то чапаевское наплывает на взбодрившиеся мысли.

«Брат Митька помирает - ушицы просит...» - фраза сразу же трансформируется в несколько иное.

— Брат Аниська помирает, ушицы просит...

Поигрывая в уме такой вот чехардой из всевозможных мыслей-домыслов, дохожу до намеченного места. Оглядевшись и оценив с видом взятого рыбака место лова, удовлетворенно вздыхаю. Ещё с десяток минут требуется, чтобы вырезать из ивняка и оснастить удочку; отыскать да посадить червячка. Делаю, наконец, первый заброс. Теперь бы и закурить.

Куда там, поплавок задёргался и, наверное, самый крупный малява величиной с указательный палец у меня в руке. Тут же отправляю выловленную рыбёху в мешок целлофановый, поправляю червячка и... кладу удочку на траву.

«Так не пойдёт, - по старой «браконьерской» привычке рассуждаю чуть не вслух. - Как там учил великий вождь профсоюза браконьеров Павлик Морозов? Правильно, всякое дело начинай с перекура. Другой же фюлер учил, что енде гут - аллес гут... Тьфу... Какой ещё конец, если не начинал ещё дела. Вот, наслушались разной фюлерни, теперь сидим у разбитого корыта. Фюлеры пришли, покуролесили да слиняли, а народ остаётся, чтоб новых вскармливать...»

«Спокойно курим», – приказываю себе и сажусь на травку рядом с удочкой. Курить стараюсь не спеша, но какой-то зуд, знакомый всякому рыболову, невольно погоняет и подталкивает ускорить процесс курения. Поддаюсь этому внутреннему давлению – осторожненько гащу хабчик, опускаю его обратно в пачку, произношу многозначительное:

– Дома... – и беру в руки орудие лова.

Чтоб выполнить план добычи полсотни малявок, потребовалось не более получаса. Необходимо было принять повышенные обязательства по вылову еще десятка маляв. Ведь перевыполнение плана сулило «честь и доблесть». Мне же в тот момент показалось, что честь у меня имеется какая-никакая и дуэль с любым «дантесом» мне не страшна. Хотя тут же с огорчением подумалось, что на дуэль меня никто и не вызовет – времена не те, и я не Пушкин... «Так и помру инженером-шаромыжником...», – удручённо подумал. Но тут же сплюнул зло и за «честь» бороться отказался. «Пускай коммуняки прошлые и нынешние планы свои перевыполняют, а мне ещё предстоит канитель - малявок этих чистить».

В последнем я оказался прав, так как почистить рыбёх времени потребовалось больше, нежели наловить их. К тому же и комары появились - в небольшом количестве, но кровь слегка попили, пока доводил ловлю рыбы до логического завершения. Зато дома выловленную и почищенную рыбу можно было сразу запускать в кастрюлю.

С тем и вернулся восвояси. А когда ушицы похлебал, опять мысли о хлебе насущном навалились. Правда, не с такой тяжестью, как на голодный желудок, но с назойливостью не меньшей.

«Голодный о еде думаешь, сытый об ей же мыслишь... Прямо спаниель ненасытный... Сейчас-то сыт, а вечером чем кишку забивать?»

Последнему доводу разумных контраргументов не находилось. Перспектива такая не радовала. И, чтоб не дожидаться голодного похмелья, отобрал из своей немалой библиотеки пяток книг с детективами и отправился в новый поход.

«Прошвырнись по «комкам», тыщ по пять за книжонку дадут – глядишь и поимею четвертной на хлебушек с маргарином. Может, и насчёт работы что клюнет – уж больно денёк-то сегодня ладен...»

Обход «комков» начинаю от ближнего к моему дому. Подхожу к этому «грибку-водковичку», мельком по сторонам смотрю – не подходит ли кто к нему за утренней порцией «одурины». Улица почти безлюдна, страждущие, верно, уже отметились у злачной «точки». Нормальные же люди не подходят к этим заведениям - нужды нет. Увы, я в эту категорию не попадаю, ибо с протянутой рукой предстоит мне горькое обращение к обитателям «комков». И хотя не произношу жалобное «шер ами», но от этого не становлюсь менее жалким, нежели отступающие и гибнущие гвардейцы Наполеона, вынужденные просить хлеба и крова у покорённого, как им казалось, народа.

Уже более ста лет назад умер последний наполеоновский солдат, участвовавший в походе на Москву. Шаромыжники же и до сих пор не перевелись – уж такова страна наша, где юродивые всякие чуть не самые святые. И не будет их – не будет России...

– Девушка, детективами не интересуетесь? – лебезливо согнувшись в соответствующий крендель, произношу в приоткрывшееся отверстие окошко. И тут же думаю зло и обидно: «И сколько же русского человека будут гнуть и унижать не переводящиеся веками всё новые и новые «новые русские». Строят свои «скворечни» с таким расчётом - не захочешь да согнёшься в три погибели перед ними. И за каждую безделушку, приобретенную в этих «комках», унижение принимаешь, как перед самым чванливым вельможей-царедворцем. В поклоне склоняешься и в позе такой просьбу свою мизерную изложи - то ли пачку сигарет тебе надо, то ли «жвачку» ребёнку». И, верно, мало кто задумывается над этим, ломая горб перед злосчастными амбразами. А если и задумывается, то, придавленный нуждишкой (как я сейчас) глушит в себе искру возникшего протеста неизмеримой смиренностью или пришибленностью, как хочешь понимай. Девица в «скворечнике», с подругой посовещавшись о чём-то, отвечает грубовато-покровительственным тоном.

– Похмелиться что ли хочешь, мужик?

– Нет, любезная, хлебушка купить.

– Тогда не по адресу обратился, дядя. С этим на паперть надо, - и окошко захлопнула зло.

Ошарашенный отхожу от «комка». Вот жизнь-то какая. И не подойди к ним, а сами то, небось, из милости какого-нибудь «чурки» сидят за жалкие копейки. На них даже не обижаешься. Верно, все мы таковы - президент заместителей в грош не ставит; те своих подчиненных и так далее. А мы, горемычные, друг на друге обиду срываем.

В следующем «комке» кавказский товарищ сидит - к нему и обращаться не стал. Может, и грамоте-то не обучен.

В двух следующих краткое «нет».

В пятом удалось продать одну книжонку за семь тысяч. Уже кое-что... Я хотел продать сразу все пять книг, оптом как бы, но паренёк, что купил книгу, присоветовал продавать их по одной - быстрее, мол, так получится. И вдогонку сказал, чтоб просил за товар свой сперва подороже, а потом уж снижал цену, а то прогоришь, мол. Ну, последнего-то бояться нечего - прогорел уже далее некуда.

Ещё одну книгу за десять тысяч продал. Правильно присоветовал - подсказал паренёк, сработало.

В общей сложности, часа три ходил от «скворечника» к «скворечнику», да по мелким магазинчикам. Четыре книги продал. Выручка составила тридцать две тысячи. При моей нищете сумма значительная. На книги «копейчку» не выкроил (а жаль, кое-что есть в магазине книжном

- новые тома Льва Гумилева и исторические романы старых писателей; в «Книжную лавку» ещё бы заявку заслать), а хлебушком на ближайшую неделю обеспечил себя.

Такой момент, когда о хлебе насущном думать не надо, следует использовать для поисков работы.

После вчерашнего праздника сытого желудка спалось долго и безмятежно, будто решились все жизненные проблемы и достигнута пресловутая «вершина счастья». Утром это ощущение никак не желало уходить. Посему обход контор в поисках работы откладывался на неопределённое время. Сначала сидел на кухне и попивал чай с сушками, не решаясь на какие-то подвижки в пространстве. Затем прилёг на старенький диван. Взгляд мой блуждал по занимающим всю стену от пола до потолка книжным полкам, смастерённым из половых досок, приобретённых однажды неизвестно для чего по сходной цене - эквиваленту литра водки. Книги давно уже не помещались на полках и, под воздействием благостного настроения, невольно стал прикидывать, как можно расширить настенное книгохранилище. А в том, что это неминуемо, не сомневался, ибо свое нынешнее полунищенство воспринимал как некую затянувшуюся шутку или игру в шаромыжку.

Так, рассуждая сначала о книгах, затем ещё о чём-то, незаметно перешёл к размышлениям о своей непутёвой жизни. А как ещё её назвать? Закончил архитектурный институт, а проработал долгие годы в лесах да тундрах Севера. Начиналось же всё просто и ладно; перспективы самые радужные вырисовывались. После распределения работал в проектном институте сначала простым инженером, а потом и ведущим. Всё складывалось самым наилучшим образом. Но...

Вот с этого «но» всё и началось...

Женился я, учась ещё в институте. И в Ухту приехал уже с женой и дочкой Юлей, которой исполнилось в то время полтора года. Сначала в «общажке» жили, а ещё полтора года спустя и квартиру получили. Опять же полтора года спустя, отработав по направлению положенных три года, фортель выкинул наикрутейший, говоря нынешними языком. А «фортель» тот заключался в следующем: когда карьера моя шла размеренной поступью к вершине, неожиданно для своих коллег, написал я заявление на увольнение по собственному желанию. Не потому, что мне была противна архитектура тех времён, и я своим увольнением выражал протест. Нет, просто понял, что не в свои сани сел. Тогда это было нормальным и, пожалуй, одним из достоинств того времени, что человек мог стремиться найти себя не только по принципу, где больше платят (что тоже имело значение немалое), но и где тебе интересно. Выдержав неисчислимые просьбы, советы и пожелания забрать заявление; отработав положенные по закону два месяца, покинул я своё тёпленькое во всех отношениях место службы и подался в изыскатели, где и проработал более десятка лет.

Развод с женой оформили, когда проработал на новом месте больше года. Мы тогда с изыскателями пробивали трассу будущего газопровода по лесам и болотам Севера. Ещё какое-то время спустя с моего согласия разменяла бывшая моя жёнка и квартиру нашу. Не спорю, довольно удачно, ибо даже мне - стороне «обделённой» - досталась однокомнатная квартира вполне просторная, но находящаяся в то время на окраине города. Я не благодарил её за это и не попрекал - мне вполне было достаточно иметь уголок, где бы можно приткнуться после скитаний или спрятаться в пьяном дурмане на несколько дней от необъяснимых приступов тоски и одиночества.

Пьянка со временем обрыдла, изыскания ещё больше. Тут времена подоспели иные – перестроечные. С пьяной головой понять смысл и тайный ход мастей этой хитромудрой партии невозможно, потому с пьянством завязал напрочь. Со временем и в изыскателях надобность пропала, чему я не очень и огорчился. Оказался в итоге без семьи, без работы; фактически не бомж, но по сути...

Можно в строители, наверное, податься. Думаю, с архитектурным моим дипломом мастером возьмут на стройку. Но душа не лежит к этому, уж очень в кровь сильно въелась каторжная, но бесшабашная изыскательская жизнь. Так и носит в этом безбрежье два года. И где берега мои скалистые, в какой стороне - никак не разберусь, а надо бы.

Нынешний муж Катерины, бывшей моей супруги, в «новых русских» состоит. И, верно, процветает, так как от алиментов Катерина отказалась, но условие поставила, чтоб к Юлии не лез. Я и не лезу. Что я дать ей могу? Какой-нибудь «Сникерс» поганый - так она их (по объяснению Катерины) без меры истреблять может.

Податься, может, и мне в эти «русские»... Но на хари их посмотришь да на затылки холёные - не по себе становится.

Ужель на них держаться Русь будет; ужель рвачеством да крохоборством процветёт. Не верю... А потому ни в какие «русские» не пойду...

Но идея заняться торговлишкой, явившись, не покидала. А получила дальнейшее осмысление и подтолкнула к действию. Последнее даже обрадовало. Но не перспективой обогатиться и процветать (сие мне явно не грозит) - тому, что движение какое-то наметилось.

И в претворение задуманного занял у знакомого прохиндея пять «лимонов» под залог своей квартирки. Получив означенную сумму сроком на один месяц под 1% в день, выехал в Москву за товаром.

Три дня пред поездкой, пока ждал деньги (прохиндей объяснил, что деньги надо собрать у знакомых) изучал рекламу во всевозможных газетах, дабы не торговать, чем все торгуют, а найти некую «изюминку», которая позволит быстро и с наибольшей выгодой «крутануть» ссуду. Эти газетные искания дали неплохой результат, ибо в хаосе предлагаемого было немало интересного - не только тряпье и «сникерсы» разные пред-

лагали в столице приобрести, но и многое другое, чего на рынках наших в данный момент не было, но что явно могло заинтересовать покупателя. Да ещё и прохиндей подсказал, что и где купить. К тому же пообещал пристроить купленное в его магазин, если мне лень будет стоять за прилавком на рынке самому. Мероприятие моё было обречено на успех – понял.

С тем и приехал в Москву. Чтобы купить намеченный товар, потребовалось почти два дня, ибо ориентировался в городе весьма слабо, а товар пришлось закупать в разных концах столицы. Ночь на вокзале пришлось перебивать. Билет в обратный путь сразу же по приезду купил, потому с ночлегом на вокзале проблем особых не было, если можно назвать ночлегом изгояние на деревянной лавке. Однако, неудобства эти мало огорчали, на обратном пути можно отсыпаться сутки с лишним. Потому, когда объявили посадку на поезд, шёл к своему вагону с надеждой в ближайшие полчаса залечь на свою полку основательно и надолго. Увы. Не случилось....

Место моё оказалось боковым, но на нижней полке. То, что полка боковая, нисколько не огорчило, даже наоборот, обрадовало. Ведь на боковушке ноги в проход не высовываются, и никто за них ночью не цепляется, а значит, и сон не нарушает. Рюкзак свой изыскательский и безразмерный, товаром заполненный (сумкой торгашеской ещё не обзавёлся), на третью полку закинул. Оставил только пакет, в котором были съестные припасы: чай, сахар, хлебушек московский да колбаса. И ещё книга, приобретённая на вокзале. Как же было удержаться от нынешнего книжного изобилия, в котором среди тьмы детективов – двухтомник Гиляровского. Его-то и приобрёл.

Пока с рюкзачком разбирался, да с пакетом продуктовым, подошла женщина молодая, у которой место было на верхней полке - также загруженная двумя большими сумками. Торговка, как и я, наверное. Помог и ей сумки пристроить. Разобравшись и с этим, сел, чтоб дух перевести; женщина напротив меня разместилась. Тоже, верно, умаялась, вздохнула облегчённо, косынку на плечи сдвинула осторожненько, головой тряхнула легонько, волосы льняные по плечам рассыпались, косынку синенькую васильковую волной светлой захлестнуло, будто в поле от ветра рожь колыхнулась, а васильки волной золотистой накрыло. Глянул я на диво это, и сдвинулось всё кругом. Как в карусели дикой - белая стенка, что боковые места в плацкартном вагоне разделяет, расплываться стала и шириться. На части делиться начала - в берёзки белые превращаясь, будто над речкой тихой Еленкой, в лугах блуждающей да в яры песчаные упирившейся. А потом из этого небытия возникшего голос вдруг услышал то ли мамин, то ли девчонки соседской из грёз забытых далёких - белобрысой и веснущатой:

– Анися... Анися... Не подходи близко к обрыву - сорвёсси...

– Не сорвусь... Я плавать уже умею... – хотел я ответить. Но не успел - что-то вернуло меня грешного из грёз пустых в вагон скорого поезда Москва-Сосногорск. В нём напротив меня сидела красивая молодая женщина, недоумённо взиравшая на меня, на лице которой вблизи переносицы едва проглядывалось несколько малых пятнышек - следов былых веснушек, а светлые волосы по-прежнему захлёстывали, будто в поле ржаном васильки, её голубенькую косынку с синенькими цветами.

Наваждение прошло. На смену ему возникла тяга непреодолимая закурить, глубоко затянуться, задержать в груди смесь воздуха с табачным дымом до лёгкого помутнения в мозгу, а потом с величайшим облегчением выдохнуть эту дурманящую смесь и замереть у окна в тесном тамбуре поезда.

Я встал, нашарил в кармане куртки зажигалку и пачку американских сигарет, что должно соответствовать моему новому положению инженера-челнока. Женщина посмотрела на меня и после некоторой паузы, будто не решаясь спросить либо стесняясь своей необычной просьбы, проговорила тихо:

– Вы курить?

– Да...

– Я с вами... Можно?..

– Колхоз - дело добровольное, – неловко, то ли съязвил, то ли пошутил я.

– Вам не нравятся курящие женщины? - уже в тамбуре, тем же робким голосом спросила попутчица.

– Не знаю... Наверное, не нравятся. Но, видите, сам курю, поэтому, как осуждать других за это могу? И к тому же многие сейчас курят. Поэтому глаз не свербит при виде курящей женщины.

– Вообще-то я не курю - балуюсь, как говорят. И вроде так положено по роду занятий...

– Я тоже обычно не курю дорогие сигареты и много. Но вот тоже - назвался груздем, кури «ЛМ»...

На том диалог наш не закончился. Между делом познакомились. Попутчицу мою звали Леной. Мое имя её слегка удивило. Она даже повторила его тихо и немножко нараспев. Но тут же спрятала свое удивление, перескочив в разговоре на что-то другое. Лена, оказалось, как и я, ехала в Ухту из Москвы, куда тоже ездила за товаром...

Тут в тамбур вышли два мужика. Лена невольно отодвинулась от них и оказалась в узком пространстве тамбура против меня. И уже во второй раз за день то ли от дыма, то ли от необъяснимого возбуждения, поплыло и раздвинулось пространство тесного тамбура. Потекли русые ручьи по голубой косынке, и привиделось поле хлебное к синей речке сбегающее, а в голове под стук колёс заколотило: «За берёзами поле...»

У речки берёзовый перелесок - в него поле упирается. Дорогой посе-

редине оно рассечено - узкой и пылящейся вслед за мотоциклом («ижом» стареньким - откуда он взялся и куда пылит?). И над полем, и над дорогой жаворонок висит-цепляется за вязкий воздух и переливчатой своей песнью оглашает золотящееся взморье, бьющееся в дальний берег - в берёзовые утёсы перелеска. И далёкий голос - юный и чистый, будто подлаживающийся под переливчатое многозвучье жаворонка, зовёт вернуться из опостылевших далей сквозь толщу беспамятства к далёким соловушкам и звонким жаворонкам.

«... а по полю жнивье...» – колёса постукивают в такт словам.

– Анися... Анися,.. – и ещё одно краткое – Анисим, что с вами? Последнее уже из мутной действительности прокуренного тамбура.

Ещё что-то всколыхнулось в грохоте колёс. Только и расслышал: «... не моё. Не моё...»

– Вам нехорошо? Пойдёмте в вагон. Здесь так накурено...

– Во мужик обкурился - дым из ушей повалил... – это уже мужики шутят.

Я же поспешил заверить Лену, что со мной всё в порядке. Просто не спал перед этим ночь, мол, а посему валюсь на ходу и засыпаю. И ещё что-то бормотал несуразное - явно не с ума.

Вернулись, наконец, в вагон, к чаепитию приступили. Беседе нашей конца не виделось. И бессонная ночь предыдущая забылась, и обморок в тамбуре (хотя какой это обморок - просто память взбрыкнула и напомнила, кто я, откуда и где душа моя ночует, когда сны беспокойные полонят уставшее тело, когда не подвластен я ни разуму, ни границам пространства, ни времени, ни расстояниям). И ещё не раз покурить сходили, и чаю попили не единожды. А разговор наш так и не кончался, будто взорвался где-то внутри нас Днепрогэс, и слова, копившиеся долгое время в гигантском хранилище, хлынули беспорядочным мутным потоком, не обращая внимания на берега и заслоны-шлюзы.

– Не пора ли спать, голубки? Жизнь долгая, наговоритесь... – это уже дедок, не выдержав нашей болтовни, из соседнего купе вмешался в наши разглагольствования и напомнил, что время уже далеко за полночь.

После этого только и уgomонились. Лена на нижней полке спать расположилась, а я на вторую влез - об этом даже не говорили, само собой произошло. Сон, однако, не шёл. Ворочаясь на бултыхающемся в ночи ложе скорого поезда, строил в соответствии со своим архитектурным образованием воздушные замки в берёзовой рощице над тихой речкой Еленкой - так созвучной с именем новой моей знакомой. Да и как тут было не мечтать. Одиночество только поэтам, говорят, не в тягость. Я же простой советский... приговорён жизнью к изыскательским работам, заменённым, видимо, другим более тяжким наказанием - любовью до гробовой доски. Последнее не казалось мне таким уж тяжким, но нести

его придётся, будто вериги пудовые, до самого смертного часа. И тут сомнений не было: не верилось, что в наше время такая несуразица, как любовь, может быть наградой, а не наказанием...

Был ещё целый день беспечных разговоров ничем не обременённого знакомства; был вечер, когда пришлось-таки расстаться; была ещё ночь радостных мечтаний, переплетающихся с необременительной бессонницей...

С утра на рынок отправился. И там ладно все складывалось - то ли оттого, что новичкам везёт в любом деле, то ли оттого, что и впрямь неплохо рассчитал торговую операцию. Уже к вечеру следующего дня распродал три четверти привезённого товара и мог рассчитаться с прохиндеем за ссуду вместе с месячными процентами. Кроме этого ещё товар оставался - это уже чистая прибыль мне. У Лены дела складывались не так удачно, но она этому не очень огорчалась. Закончив торговые дела, на остановке автобус без малого полчаса прождали. Прямо в автобусе и попрощались - она на одной остановке вышла, мне же до следующей надо ехать.

В своей конуре холостяцкой пересчитал я выручку, уложил деньги аккуратными стопками. После обернул их полосками бумаги. Упаковав деньги в целлофановый пакет с ручками, отправился к прохиндею, чтоб рассчитаться с ним по ссуде и процентам к ней. Прохиндеюшка - бывший мой сослуживец по архитекторству, единственный, кто со мной знался ещё с тех времен, когда я... - выслушав за чашкой кофе рассказ кратенький о моей поездке, поздравил с удачным почином, предложил ещё раз «крутануть» деньги - мол, до конца оговоренного срока ещё три недели и я успею за это время повторить фокус. Но я отказался, сославшись на то, что надо вновь провести газетные изыски, на что времени потребуется уже больше, ибо всё, что сверху плавало, уже сгрёб и в следующий раз такая удача не выпадет.

- Давай через месяц зайду, если что надыбаю, - подвёл я итог своему торговому отчёту и протянул прохиндейке пакет с деньгами:

- Вот - пять «лимонов» и плюс полтора процентов.

- Погоди, Анисим... Я не жлобина какой - договаривались один процент в день - вот и отсчитывай.

Я согласился частично и отсчитал десять процентов - от удачи, мол, премиальные ещё. На том и закончили денежные дела. Прохиндей предложил вспрыснуть это дело коньячком, но я отказался, сославшись на усталость и последствия бессонных ночей.

Сон и впрямь наплывал со страшной силой. Потому, лишь добрался до своего расхристанного диванчика, сразу же уснул. Дрых, именно дрых, долго, не чуя реальности. Что виделось мне в глубоких ночных грёзах, не помню, но явно самое хорошее, ибо утром такое брожение в душе было, что и описывать не буду да и не описать...

С рынка возвращался уже совсем налегке вечером. Ехали с Леной на том же автобусе. Только вышли уже на одной остановке - на её. Вы-

звался сумку помочь донести. А у подъезда ещё и наглости набрался на чай напроситься. Не иначе в струю попал, коя несет меня к процветанию земному. Даже возомнил - денег куры не клюют; квартира большущая, книгами заставлена по всем стенам и все в кожаных переплетах, с золотым тиснением; жена раскрасавица....

И чего только не пригрезится... Но течению, подхватившему меня, не противлюсь – уж очень надоели серость и одиночество жизненные.

Хотя не всё, конечно, было столь безмятежно - нет-нет да и наплывали горькие мысли, что стал инженер-шаромыжник инженером-лошником и рад этому безмерно. После чего радость непонятная сменялась минутным унынием. Единственное, что было несомненной удачей, - встреча с Леной. Но что сулило последнее? Может, ещё один удар судьбы, от которого одно спасенье в запойном неведении? Я даже не знал точно её семейные дела. Знал лишь, что сын у неё - Саша, который почти всё время живёт у бабушки.

А муж? Может, в командировке... Или сидит...

Неизвестность пугала, неопределённость сковывала. Но что-то гнало, будто дикого вепря по лесной чащобе. И летел я, сломя голову, не пугаясь крючковых ветвей, ибо верил в крепость и дубовость шкуры своей; в крепость своего лба, способного сшибить любого врага, любое препятствие. И в довершение ко всему терять мне было нечего...

Но эти раздумья и сомненья лишь тогда наседали, когда Лена уходила на кухню, чтоб приготовить что-нибудь на ужин: нехитрый и даже стандартный - салат из помидор и огурцов да картошка. Когда же за стол сели, легко и просто вновь стало. Уже не думалось про кабанячье свое начало (в год Свиньи родился) и баранья сущность (по гороскопу Овен) не проявлялась в разговоре не к месту сказанными словами.

Я больше слушал Лену, её рассказы больше про Сашу и бабушку. Сам иногда вставлял что-нибудь занятное и весёлое. Взгляд мой то в глазах Лениных застревал, то в волосах её русалочьих путался. И так хотелось уткнуться в это волнистое золототканье, что опять, как в поезде, отрешился в какой-то момент от всего и просто смотрел, будто сквозь Лену. Позади её календарь висел. А на календаре берёзки изображены – как в рощице над Еленкой. Правда, пейзаж был зимний... Лена что-то говорила, покуда не заметила мою полнейшую отрешённость. А заметив это, замолчала; руку свою поверх моей положила.

– Что с тобой, Анисим?

Мы уже на «ты» давно перешли, ещё вчера – так сверхскоростно наши отношения закрутились, что такие мелочи как бы мимоходом решались. От прикосновения лёгкой руки Лениной и от слов её опомнился, будто от наваждения.

– Ничего... Берёзки вон – позади тебя... Как над Еленкой...

– Это что? – не поняла Лена.

– Еленка – это речушка... Деревня моя на берегу её.

– Какое название красивое – Е-лен-ка... А почему она так называется?

– Не знаю... Может, раньше ельники по берегам были... А теперь вот луга да рощицы берёзовые по берегам.

– Всё равно красиво. И Еленка, и берёзки по берегам...

– Да.... Умели раньше название поселению дать. Да и места для тех поселений выбрать могли. Не то что теперь... Посёлок на болоте выстроят и название ему дадут, не всяк выговорит – какой-нибудь Социалистический...

– А у тебя в деревне есть ещё кто-нибудь? – не поддержала Лена тему названий нынешних городов и посёлков.

– Отец четыре года назад помер, а маму весной похоронили. Остальных жителей с десяток наберётся, может. Всё старухи вдовы да соседи наши – дедка Степан и баушка Лиза.

– А что ты не уедешь в деревню свою?

– Чего там делать? – но, помолчав немного, добавил: – Если с бизнесом ничего не получится, да... (чуть не ляпнул – с тобой, но вовремя осёкся). Тогда продам свою квартиру и уеду.

– А чем заниматься будешь? Фермерством?

– Я? Фермером? Да я лошадь двадцать с лишним лет не запрягал. Если только на проценты от проданной квартиры жить... Но надолго ли хватит тех процентов? До первой реформы-обдираловки?

– А я никогда в деревне не жила. Всё в городе и в городе. Папа у меня, правда, деревенским был. Но рано умер, а родственников близких у него в деревне не осталось. Мама же в городе всю жизнь прожила, как и я...

– У тебя-то есть время пожить в деревне. У меня изба-то справная после родителей осталась – поезжай да живи, плюнь на свою торговлю. У меня есть два «лимона», поехали, – предложил я. И неожиданно для самого себя бухнул с нахальной смелостью (или, наоборот – со смелой нахальностью): «Устроим там медовый месяц».

Ну, не дано мне мысли чьи-то читать, а к женщинам с понятием подходить. Потому, в соответствии со своей кабанье-бараньей сущностью, могу только бухать невпопад нелепицы разные. Разговор наш тут же потух, приугас. Лена задумалась глубоко; я места не находил от своей неуклюжести и сидел крутился, будто мормышку заглотил.

Лена, скорее всего, шутейно, вдруг согласилась, но спросила:

– А с Сашей как?

– С собой бери... Вернее, с собой возьмём. Куда иголка – туда и нитка, – кинулся я поддерживать своё неуклюжее, хотя, может, и интересное предложение.

– Ты его не видел даже...

– Увижу. Я ж не сейчас ехать предлагаю. Познакомимся... То-сё...

– Хорошо. Поедем на дачу завтра к нам? Если дел у тебя никаких нет...

– Нет, дел никаких, – заверил я.

Дальше беседа наша не клеилась - верно, слишком далеко забежала наша «телега» вперёд «лошади» в планах наших. А это и потешно, и опасно...

Ещё помаявшись так с полчаса, засобирался я восвояси. Уходить не хотелось, но и повода задержаться не находилось. Да и сверх сил моих было это.

– Завтра когда едем-то? – спросил почти от дверей.

– Как зайдёшь, так и поедем. Лучше с утра, часов в восемь.

Я уже за ручку дверную взялся и прощаться хотел, когда услышал:

– Анисим, я тоже не хочу, чтоб ты уходил. Оставайся...

Я готов был броситься к ней, поднять на руки и кружить по узкой прихожей, кухне - пускай летят по сторонам мебель и посуда, все плошки-поварёшки. Но что-то удерживало, пригвоздило на месте, язык будто полоза саночного в тридцатиградусный мороз коснулся, прилип к небу - не отодрать. Лена стояла рядом и ждала. Мой взгляд, пронырнув омут глаз, выскочил на невидимый бугор, поросший березняком, и рассеянно остановился, ибо из этого белоствольного благолепия послышался тихий звон радости и голос в нём растворённый звал: «Анися... Анися... Не уходи...»

Миг, другой и всё рассеялось - одна рука на замке, другая на плече у Лены. А глаза близко-близко. Губы тоже... И когда оторвался от них с каким то сверхусилием, проговорил тихо, совершенно чужим голосом, ибо вся натура противилась словам тем.

– Прости. Лена. Не сегодня. А то захлебнусь...

– Я тоже... Иди...

На даче нас в тот день явно не ждали. Меня-то уж точно. После неловкого обмена приветствиями и нескладного знакомства Лена со своей мамой - Ниной Петровной - удалились в домик готовить чай. Мы с Сашей в саду остались. Ягод уже не было, отошли. Зато в теплице, куда меня повёл первым делом Саша, было изобилие огурцов и помидор.

– Бабушка сегодня обирать их хотела и солить – тут вы приехали с мамой. Наверное, на завтра отложит, – вздохнул не по-детски Саша. Верно, нравилось ему быть хозяином этого огородного мирка.

– Не расстраивайся, Сашок. Мама, знать, для того и приехала, чтобы бабушке помочь. Да и я, может, на что сгожусь?

– Не мужское это дело – с огурцами валандаться, – отрезал вдруг паренёк по-взрослому безапелляционно. – Лучше пеньки за домиком расколи. А то у нас с бабушкой сил нет с ними справиться.

– А колун есть? Или топор потяжельше?

– Есть всё у нас. Пошли, дам.

Мы вернулись к домику. Позади него действительно была клетка кручёных и сучковатых берёзовых и еловых чурок – явно не женскими руками с ними воевать.

Саша минут пять гремел где-то на веранде. Наконец, появился, неся в охапке, будто дрова, колун, здоровущий топор и два железных клина. Колун я взял, в руках повертел, примерился.

– Ох, Сашок, давненько я таким хитрым делом не занимался, забыл уж, как это делается. Ну, ничего, подскажешь, если что не так.

– Конечно, подскажу. Ты большую чурку на землю поставь и на ней коли остальные, – сразу же и охотно принялся Сашок учить меня.

– Нет, Сашок, я так не умею. Размах не полным получается. Лучше половинку чурки плашмя положить, к ней уже приставлять те, которые колешь.

– Как знаешь... – неохотно согласился Сашок.

Заготовка дров – дело известное. Когда был таким же, как Саша сейчас, подносил поленья маме. Та их в поленницу складывала – наука довольно хитрая. Надо так поленницу выложить, чтоб ровной была и прямой, а для этого каждому полешку место своё подобрать надо. Когда подрос, пилить стал с мамой – бензопил не знали тогда... Ну а с пятнадцати лет колошматил эти дрова, как заправский мужик. Дрова обычно зимой заготавливали, в основном берёзовые. Замёрзшие чурки колоть было легко, так как берёста их не стягивала, не держала обручем, и от каждого удара чурка непременно раздваивалась.

Сейчас, конечно, не тот случай был. Но и тут пододец к пенькам заковыристым нашёл – где меж сучков ударю, где и надурь осилю неподдающиеся полена.

Дело у меня заспорилося. Коли с детства какой науке обучен, да долго не вспоминал её, при случае в охотку-то очень даже к месту она бывает. И не заметил, как половину клетки перемолотил. С непривычки притомился. К тому же и в отвыкших от топора руках каждый удар стал отдаваться, парализуя на мгновение их. Сел перекурить, дух перевести.

– Здорово у тебя получается... – Саша всё время сидел метрах в пяти от меня на старой трехногой табуретке и молча наблюдал за моей работой. – Ты как железный Дровосек.

– Ну, скажешь, – поскромничал я.

– Мне бабушка читала про него. Он сильный, только мозгов у него нет. Ему Волшебник Изумрудного Города выдал их, тот и поумнел.

– Это в сказках только волшебники и мозги, и богатство дают. А в жизни, коли нет мозгов, на базаре не купишь и на паперти не подадут их. Они либо есть, либо нет и не будет никогда.

– А у тебя их много?

– Мозгов у всех по размеру головы. Только набекрень они у некоторых.

– Это как?

– Ну, значит, набок. Или вот так, – и покрутил пальцем у виска.

– Когда так, – Саша повторил жест – значит, дурак. У них что, тоже мозги есть?

– Я же сказал, у всех, – и, чтоб перевести разговор, спросил: – А чем ещё здесь занимаешься? Друзья-то есть?

– Есть друг – Витя. Он у водоёма живёт. Летом, конечно. Зимой он в городе живёт, далеко от нас, потому там не видимся.

– А что за водоём? Купаетесь в нём?

– В жару купались. Но там лягушек много и жуков мелких по дну ползает много. Лягушки такие противные, как змеи. Мы их палками били и гоняли, а они всё равно откуда-то берутся.

– Вот это вы зря. Змеи – те, действительно, поганые твари. А лягушки полезные, – начал я поучать Сашка, но тут почувствовал фальшь в своих словах, так как вспомнил, как сами в его возрасте гонялись во время весеннего половодья за несчастными мышами-полёвками, чьи норы затопило внешними водами. И лягушкам доставалось от нас. Бедных надували с помощью соломинки, вставленной в задницу. Надутого таким образом бросали обратно в воду, швыряя в неспособных унырнуть лягушек камнями и палками – что поделать, детская жестокость, видимо, всем присуща, только у большинства людей с возрастом это проходит. Отогнав эти воспоминания, продолжил:

– Змей, тех и в самом деле палками надо по башке. Змеи – они и есть змеи. А лягушек не надо бить. Они ведь комаров ловят и едят. И ещё их в молоко садят, чтоб не прокисло.

– Куда? В молоко? – Саша засмеялся. – Они же такие толстые – всё молоко вылакают. Или накакают в него, – и засмеялся ещё громче и заливистей.

– Не накакают и не вылакают, – продолжил я, когда Саша поуспокоился. – А молоко всегда холодным бывает.

– Ты тоже их в молоко садишь?

– Нет. У меня холодильник есть. И не покупаю я городское молоко, оно водой разбавлено и доярки, когда коров доят, бидоны не промывают – оттого скапливается на дне их всё, начиная от грязи и навоза, и, кончая мухами. А лягух в молоко, говорят, на Украине бросают.

Тут беседу нашу Лена прервала.

– Мужики, кушать идёмте.

Обед был знатный – молодая картошка, посыпанная укропом и петрушкой; огурчики малосольные; грибки маринованные – не сваявшиеся кучей, а выложены на тарелку и плавают в светлом прозрачном маринаде; селёдка домашнего посола, верно, по фирменному какому-то рецепту и ещё всякая всячина, приготовленная умелой хозяйкой. А к чаю подано варенье клубничное; черника и морошка засахаренные. И

оладушки с пылу, с жару очень даже к месту оказались.

Однако изобилие на столе не переросло в изобилие словесное. Один Сашок нет-нет, да изрекал свои детские истины. Среди взрослых же все разговоры сводились к погоде, к ценам да огородным делам. Но всё это обсуждалось как-то вяло и несвязно. Чувствовалось, что кто-то за столом лишний. Я уже просчитал, что незванным гостем являюсь я, но, когда по окончании трапезы мы отправились с Леной за водой к артезианской скважине, она несколько успокоила меня.

— Ты, Анисим, не обращай внимания, что мама такая немногословная. Они ведь упрямые и принципиальные до одури бывают - всё им надо семь раз отмерить...

— Да ничего... Я понимаю...

— И хорошо. Не будем об этом. Тебе ещё здесь не надоело?

— Да нет. И потом - дрова доколоть бы надо.

— Хорошо. Только, знаешь, мне надо б в магазин съездить продукты купить и хлеб. Ты тогда дровами позанимайся, а я в посёлок съезжу быстренько - туда и обратно.

— Конечно, съезди. А я, если что, подожду. Либо ещё какую работу мне Сашок подыщет.

Уточнив с Ниной Петровной список необходимого, Лена ушла на остановку. А я вновь за колун взялся. Сашок уже не «помогал» мне, сидя на табуретке, убежал куда-то со своим дружком, жившим на даче также с бабушкой и приезжавшей на выходные мамой. Лето подходило к концу, и я по себе знал, как за лето сживаются пацаны друг с другом. И когда приходит время разъезжаться по зимним квартирам, появляется вдруг множество всяких дел, которые, ну никак, нельзя отложить на следующее лето. Времени, однако, всё равно не хватает и с великой неохотой приходится отказаться от планов грандиозных и дел великих.

Где-то с час времени потребовалось, чтоб доколоть дрова. Расправившись с ними, сел на трёхногий табурет и закурил. О чём думал? Да ни о чём... Наверное, как дрова уложить поаккуратней и куда. Нина Петровна о том же заговорила, когда из дому вышла и увидала, что все дрова поколоты. Поблагодарила меня и заверила, что уложить их и без меня сможет. Затем позвала в дом ещё почаёвничать.

От ароматного чайку, - верно, вода в скважине хорошая, - как откажешься. Чаёк свежий Нина Петровна заварила. И сама за стол подседа. Спросила, с каким вареньем я чай буду пить. От варенья отказался, сказав, что пить хочется, а посему, мол, с сахарком попью, жажда таким образом лучше утоляется.

Под чаёк беседа приобрела серьёзный оттенок. Я так, впрочем, и предполагал, что и само чаепитие было затеяно с некоей целью - выпросить меня о том, о сём. Я не возражал и не противился этому, мне чего скрывать да зашифровывать.

– Мне Лена рассказала, как вы познакомились, – начала допрос-беседу Нина Петровна. – Я не хочу обижать тебя, Анисим... Ведь неустроены ты, работы у тебя стоящей нет и, как я поняла, не предвидится. Она инженер-строитель с ребёнком у мамы на шее, а ещё вы такой же. И ещё... Неизвестно, как у тебя с Сашей сложатся отношения. Ему настоящий отец нужен... Чтoб авторитет был и положение. Вы ведь понимаете меня правильно?

– Да, Нина Петровна, понимаю. От ворот поворот. Только на шее я ни у кого не сидел. И садиться не собираюсь. А то, что сейчас не работаю, так это ни о чём не говорит. Я в изыскатели пойду снова. Меня возьмут. И заработки там приличные, и не задерживают. Попробуй не дай мужикам зарплату, они ж ни в какие «поля» не поедут. Да и как в командировку без денег человека посылать, даже нынешние умники придумать не могут...

– Зарботки... Командировки... А Лена одна опять с Сашей останется? Да ещё, не приведи Бог, своего ребёнка заведёте. И потом, в командировке вино, женщины...

– Нина Петровна, я уже более десяти лет с женой не живу. И не скажу, что монахом эти годы прожил. Но ведь это так... Без любви...

– А у вас что, любовь уже? Не быстро ли?

– Зря вы так, Нина Петровна, с таких бы ликов, как у вашей Лены, иконы писать. А вы – изменять...

– Ты ещё и верующий?

– Какое там верующий... Если б верующий был, давно б от такой жизни в монастырь себя заключил.

– Вот и заключай... У тебя даже цели в жизни нет... А ты семью заводить.

– Ошибаетесь, Нина Петровна. Без цели даже лягушки на болоте не квакают.

– Ладно, Анисим, препираться. Я своё слово сказала, а вы делайте, как хотите. Но я не хочу, чтобы вы портили жизнь Лене и Саше.

Я встал резко, даже стул, на котором сидел, не устоял и повалился. Что-то вскипело во мне – удержаться бы, смирить гордыню. Ведь это мать Лены и Саше бабушка, ведь не со зла сказано было – от беспокойства за близких людей. Без миру и терпения не решить такое дело. Но меня понесло.

– Хорошо. Не буду портить. Не взбаламучу это огородное болото. Только не уверен, что вы им жизнь шибко красите.

С этим и удалился. Может, ещё что говорил, но разве это важно. В чурку обледеневшую враз превратился. Как до квартиры добрался, не упомяну. После сутки целые лежал на стареньком диване. Каких только планов не выдумывал: и повеситься, и газ открыть, и к Лене бежать умолять-клясться в любви вечной. Но так ничего и не придумал, не решил. Выжил, одним словом...

А через два дня занялся сборами. Решил-таки перебраться туда, где меж лугов течёт речка Еленка, где в берёзовой рощице над ней светло и тихо, где стоит деревенька (а когда-то село) Красногорье и в ней дом с разбитыми окнами.

И, видимо, немало надо проскитаться по чужим краям, чтоб понять - единственное место, где тебя всегда ждали, - дом родительский. К тому же известно – в гостях хорошо, а дома лучше. И, верно, уж слишком засидевшимся гостем я стал в этом городе...

Гараж продал чуть не в первый день, его у меня давно хотел купить сосед по лестничной площадке. С квартирой тоже больших хлопот не было.

Когда уже распродал всё своё недвижимое имущество, когда отправил контейнер с вещами и книгами - зашёл к Лене, попрощаться. Дома её не было, в почтовом ящике лежало несколько скомканных газет. И последнее означало, что Лена, видимо, не желая меня видеть, переселилась к матери. С тем и уехал, как побитый пес к разбитой конуре...

Приезд мой в Красногорье совпал с «бабьим летом». И само это тихое увядание природы всегда нагоняло на меня тоску страшную, отчего и не любил я приезжать сюда по осени. А сейчас и вовсе мрачнее тучи был.

По утрам туман над рекой и лугами заливными одеялом пуховым стлался, а к полудню солнце по летнему жарко припекало - так что, казалось, не будет конца этой осенней благодати, и, что близкое увядание лесов будет где-то, а здешние места, будто туча, минует стороной, и осень затяжными дождями не будет хлестать по горбам почерневших изб, а зима белым безмолвием не пленит это одичавшее земное пространство.

Тёплыми вечерами подолгу сидел и курил на лавчонке перед домом. Ждал, когда на востоке зажжётся яркая звезда Венера и медленно поползёт по небесному куполу, всё ярче и ярче вспыхивая в густеющих сумерках. Иногда выходил ко мне покурить и посудачить дед Степан. Но беседы у нас не клеились и он, покурив, охая-ахая, уходил восвояси.

Первое время занимался обустройством нового жилища - крылечко подремонтировал, калитку поправил. Дрова со старых времён были наготовлены. Ещё оставалось их на две-три зимы.

А вот в избе дел многовато было. Сначала с печкой разобрался - трубу почистил; плиту, треснувшую лет пять назад, поменял; саму же печь побелил дважды. Теперь от её белизны снежной светлей стало в избе.

Потом банькой занялся - каменку поправил, окошко разбитое застеклил. Надо бы и колодец почистить, но лезть в него осенью не с руки. Потому отложил дела колодезные на следующее лето. Воды мне немного надо, можно и к деду Степану сходить. У них вода всегда считалась чуть ли не лучшей в селе - знать, жила такая попалась. Для чая к ним за водой всегда, помню, меня мама посылала. Для баньки же из своего колодца годилась.

Пока приводил в порядок хозяйство своё, контейнер пришёл. Новое занятие появилось - книжные полки делать. Конечно, не всё в одиночку мастерил. Дед Степан с баушкой Лизой помогли. Правда, дедко всё больше советом да побасенками из красногорской бывальщины; зато баушка Лиза прямо из рук всё отнимала. Узнала, что печку белю, прибежала, щётку отобрала и сама почти всю печку побелила. Я только подавал ей то белила, то ещё что-то, стол передвигал и табуретку, с которых она трубу да верх печки до ума доводила.

Огород прошедшее лето пустовал, позарос травой и репейником да полынью. Поэтому пришлось попросить, чтобы перепахали его. Запасов на зиму с огорода не было абсолютно, придётся на покупном жить. Но на этот счёт не расстраивался - всё это можно и в деревне купить, а на первое время запас был. Не успел приехать, а баушка Лиза приволокла картошки ведра три, моркови, луку и чесноку, мол, на обзаведенье, потому и денег не взяла, даже обиделась малость. И после, как заходила ко мне, так что-нибудь несла - то молока козьего, то пирогов и ватрушек к нему. Пекарни у нас, естественно, нет, на центральную усадьбу совхоза не находишься, поэтому хлеб пекли дома. Я уже не предлагал денег баушке, чтоб не обижать, но всё равно не по себе было. Однажды не выдержал, сказал ей об этом. Та только рукой махнула, мол, что с тебя взять и добавила:

— Много ль ноньче народу-то в деревни возвращается? Один на всю округу. И молодой, и образованный... Ишь, как времена меняются. Поэтому грех попервости человека не поддержать хоть маненько. Чай не басурманин какой заявился, а свой деревенский...

Дед Степан, когда увидал у меня книг целую уйму, так и зарылся в них. Никак выбрать не мог — что бы почитать взять. Часа два их перебирал - возьмёт одну, полистает...

— Анись, я вот енту возьму почитать.

— Бери, дядя Степан.

Отложит он эту книгу на стол на кухне, вернётся ко мне (а я полки книжные мастерил), посидит-покалякает со мной, возьмёт другую книгу. Опять полистает, поохает.

— Нет, Анись, я, пожалуй, ту брать не буду покуда, посла возьму. А сегодня ты мне вот енту выдай...

Так целых два часа изводил себя дедко, унося одни книги на кухню, и, возвращаясь с предыдущими. Наконец, остановился на Ги Бретоне - «История любви в истории Франции». Причём взял сразу все пять томов. На моё удивление таким выбором ответил, что, мол, всем известна влюбчивость французов, а в чем секрет одного - никто толком не знает.

— Я вот на бабке своей с тридцать девятого году женатый. Это в нынешнем 96-ом скоко будет, Анись?

— Пятьдесят семь, дядя Степан.

– Видал, скоко. Ноне по стольку-то и не живут вобще, не то, что женатыми. И вот все пейсят семь годов думаю - так ли обхождение у меня с Лизаветой было? Может, чем не потрафил ей? Ты сам-ет прочитал ли?

– Не все, дядя Степан.

– И понял ли чо? – не унимался дед.

– Дедко, знаешь что? Давай-ко видик наладим, я те такое покажу, что ни в одной книге не вычитаешь.

Сказав это, тут же полез рыться в коробках - сначала видик искал, затем кассету нужную. Наконец, наладил, включил.

– Смотри, дядь Степан. Я уже этого нагляделся. Не понравится, скажешь. Другое тогда включу. «Камедь» какую-нибудь, – и с тем удалился за перегородку к прерванному занятию.

Деду, видимо, понравилось зрелище. Слышно было, как он ахал-охал, плевался. Я со временем перестал обращать внимания на дедовы восклицания, увлекшись своим делом. Потому не услышал, как вошла баушка Лиза. Она не обратила сперва внимания на то, что так увлечённо созерцает дедко - «Тропиканка» по ОРТ и «Первая любовь» по ленинградской программе к тому часу закончились, остальное её не интересовало. Баушка Лиза прошла в комнату, где я мастерил полки, и тоже удивилась большому количеству книг.

– А книжек-то скоко! Поди, деньжищ-то на них ухлопал.

Я не успел ответить баушке, ибо дед Степан её позвал.

– Лизавета... Лизавета... Иди-ко суды... Глянь, каки причуды по телевизору кажут...

– Недосуг мне. Да и очки не взяла, - попробовала отделаться от назойливого деда.

– Иди. Я те свои очки дам. Анись, назад бы маненько прокрутил фильму, уж больно занятное было.

Я вышел к деду.

– Да и тут вроде занятное зрелище...

– Нет, даве занятнее было, – сам же снял очки, протянул их баушке Лизе.

Я уж совсем собрался уважить дедову просьбу и сделал шаг в сторону телевизора. Но получил такой подзатыльник, будто какой-нибудь Мухамед Али звезданул по темечку, от которого отлетел в сторону и чуть не вышиб лбом косяк. Следующий удар достался деду. От удара того дед не удержался и упал под злосчастный телевизор, едва не завалив его на свою голову.

– Срамники... Хари бесстыжие... Экое блядство старухе показывать удумали! Ты-то, старый, чего вытаращился? Не насмотрелся в районе-то на баб срамных, когда гулеванил с имя?

Прочухавшись, и, на ходу потирая лоб, я подошёл к телевизору и выключил забаву. Помог деду подняться. После кассету злосчастную из

видика изъял и протянул баушке Лизе:

– Баб Лиз, не ругайся. Мне самому подсунули – сказали, что любовный фильм. Я и взял, - прикинувшись пострадавшим от злых обманщиков, безбожно врал я баушке.

– На вот, возьми. Печь будешь топить - так в огонь брось.

Та выхватила кассету, притворно плюнула на неё и спрятала за пазуху.

– Тьфу, на вас, хари бесстыжие. Ты-то старый забыл, как в ногах валялся, прощения просил? – с тем и выскочила из избы.

Помолчали минуту-другую.

– Ураган, а не баба... Потому, верно, и прожил с ей пейсят годов. И ещё б прожил столько же, кабы Господь дал здоровья... А зря ты ей отдал вещицу-то. Ведь впрямь сожжёт.

– Ничего, дядя Степан, у меня ещё одна есть. А если понравится - ещё куплю, когда в город поеду.

– Есть? Ну и ладно... Как-нибудь приду посмотреть. Только запересться надо.

С этим и засобирался дед Степан, дабы предстать пред грозны очи супружницы своей. Книжки, отобранные для чтения, под мышку взял. Но от порога вдруг вернулся, будто вспомнив чего.

– Слушай, Анись, у тебя какая-нибудь порченная есть плёнка ента?

– Есть, наверное...

– Ты вот что... Мне дрянную-то плёнку дай. Лизавета эть токо утром печь-то топить станет. А я до того времени и поменяю плёнки-то. Она ничего и не поймёт. Я-то другой раз ночью покурить встаю - Лизавета шипит на меня из-за этого, но что поделает сможет, когда потребность такая у мужика. Аккурат ночью и проверну операцию...

Наладив, таким образом, свой быт, занялся «промыслом». Конечно, рыбалкой. Это болезнь давняя и хроническая. С первого пескаря, выловленного в Еленке и, верно, до гробовой доски.

Сначала с удочкой просиживал подолгу на реке. Но кроме ершей да мелких окунишек ничего поймать не удавалось. Но у воды было всегда покойно и уютно. Потому величина улова не особенно волновала.

Весь небогатый улов отдавал баушке Лизе. Приносил ей ежевечерне малое количество ершей и окушков, которых она тут же обихаживала - чистила, потрошила, мыла самым тщательным образом в двух водах и затем складывала рыбу в целлофановый мешок, который по завершении процедуры прятала в холодильник.

Дед Степан, глядя, как баушка Лиза священнодействует с рыбой, а я и кошка Чернушка взираем на это, оторвавшись от «Истории любви...», а позднее - от очередного тома Д. Мордовцева, подшучивал над нами. Больше всего доставалось мне.

– Ты мотри, Анись, золотую рыбку не проворонь по малости-то её. А то Лизавета ей вмиг кишки выпустит. Чо тогда делать станешь?

– Другую ловить, дядя Степан. Еленка большая, рыб золотых в ней, если поискать, как у дурака махорки...

– Во-во... А ты видал ли дурака-то с махоркой? Оне, дураки-то и не дураки вовсе, всё больше на дурняк покурить стараются. У нас кто же дураку откажет?

А однажды перепалку эту неожиданно закончил:

– Вот если б лодка у тебя была...

– И что? С лодки больше б наловил?

– Да нет... У меня на подлавке две «морды» есть и сеток парочка...

– Лодка-то есть у меня. Резиновая. Двухместка...

– Так что ж ты молчал? Давно б на рыбник наловил щук или язей. Завтра же бери причандалы мои и ставь. Я те подскажу, где «морды» поставить, где сетки.

– А толк будет? - сомневался я.

– А я почём знаю. Ты ведь рыбак - тебе и знать, с тебя и спрос... Ещё лучше - «экранов» наделать. Этта мужик с городу ловил ими, так больно славно сорога попадалась. С «экранами» круглый год с рыбой будешь - и летом их ставить можно, и зимой под лёд заталкивать.

– Ну «экраны» я видал. И как напутать их - тоже знаю. А идею ты, дядь Степан, хорошую подкинул. Лески у меня прорва. Сейчас за ней сбегаяю, и начнём, пожалуй. Дядь Степан, поможешь? Вдвоём-то быстро наделаем их.

– Помогу. Ужо, конечно, помогу. Я и сам рыбки-то свежей ох как хочу.

Пока я бегал за леской, дед Степан приготовил две иглы для вязания сетей и две планки под ячею примерно в тридцать миллиметров. Весь вечер и следующий день заняты мы с дедом были плетением «экранов» и насаживанием их. Баушка Лиза, глядя, как мы лихорадочно и усердно занимаемся делом, беззлобно и с каким-то умилением подначивала нас.

– Мужики, а если б вам ту фильму показать, что я в печке спалила, чтоб делать стали - на баб голых смотреть или «экраны» свои путать?

– Глаза-то два у человека. Одним бы на экран смотрели, другим бы на «экраны», - съехидничал дед.

– Уж ты б одним глазом смотрел... Кода-а... В оба бы, небось, таращился. Так, что и ширинку на штанах со всем хозяйством к сетям прихомутил, не заметил бы. Анисим тебя потом и закинул бы вместе с «экранами» в реку, налимов загонять, - не отступала баушка Лиза.

– Я молчу, Лизавета, молчу, – сдался дед Степан. – Вишь, Анисим, бабы-то какие. Ты вот правильно сделал, прогнал свою к едрене фене. Сама эть начала, а скажи я ещё слово – виноватым бы и остался. Всё уж тут припомнила бы...

– А чо припоминать? Кобель был, им и помрёшь. Не знаю, думаешь, как в районе-то неделю пировал? Всех шалав городских собрал и ну с имя хороводиться.

– Ты зря, Лизавета, так. Ордена-то не каждый день давали. А тут, почитай, через двадцать с лишним лет посля Войны наградили.

– Орденом-то и прикрываешься. Ишь, герой какой выискался... – шутливый тон в словах баушки уступал постепенно ругательным интонациям и поученьям.

– И тут, вишь, объехала на хромой козе. Лучше чаю согрей-ко нам, чем скалиться, – ещё более покорно и примирительно попросил дед Степан разошедшуюся супругу. А когда баушка Лиза удалилась ставить чайник, кратко поведал мне историю своих наград и подвигов.

– ... Я чо, виноватый что ли? Как под награду попадать – так обязательно ранят. Или зачем-то в другую часть переведут. Я ведь и войну-то начал чуть не раньше всех. Я этъ говорил тебе, что с Лизаветой мы в тридцать девятом поженились. А в сороковом меня на срочную призвали. На финскую границу я угодил. Восемнадцатого июня вечером наш дозор немцы расстреляли. На другой день хоронить их наладились. Тут и началось – самая настоящая война. Из пушек, паразит, лупит самой что ни на есть прямой наводкой. Пять минут не прошло – от казармы сырое место осталось, прямо так и есть – где казарма стояла, там яма получилась. Мы, кто в чём был, повыскакивали да ходу в лес. Я миномёт прихватил, а мин к нему ни одного ящика не взяли. Так и пёр, как ненужную железяку, восемнадцать верст. А там наши оборону каку-никаку организовали. И мин подвезли, и другого припасу. Только надолго ли тех мин, когда немец прёт валом, конца нет. Тут меня ранило. Очнулся уж в госпитале – и как в него попал – не помню. В Архангельске лечился. После лечения – под Москву. Началось наступленье – меня опять ранило, опять госпиталь. Так же в Сталинграде получилось. Немцев-то в окруженье взяли, по радиву передали. Обрадовались – победили, дескать, ходим – от пуль не прячемся. А снайпер-то – как тут и был. Опять госпиталь. Потом на Днестре ранило – уже на правом берегу. За Днестр и получил орден-от. Уже в 72-ом году вручили. А последний раз в Берлине ранило. После госпиталя домой отправили, как демобилизованного. Орден, когда уж вручили... А до того ни одной награды, ни одной медали какой-никакой. Всю войну провоевал, от пуль не прятался. А наград – один орден и есть. Может, ещё где награды мои блудят – не знаю. Ну этъ и ладно. Немца одолели, домой живым вернулся... Здесь и похоронят – это для солдата самая большая награда – быть дома похороненным. Многим ли такое выпало...

Тут и чаёк подоспел. Баушка Лиза к тому времени остыла, подобрела и вновь была благодушна и приветлива, как самая щедрая и гостеприимная хозяйка. Потому и потчевала нас, верно, как самых дорогих

гостей, умилённо поглядывая, конечно, на своего деда. Истинно, немислима любовь без ревности не в первый год, не в «пейсят семьей»...

«А меня вот уже и в тридцать семь никто не ревнует», – с горечью подумал я, взирая на эту счастливую пару, которая, наверное, и держится на скрываемой от всех преданности неземной друг другу, а частые перепалки между ними всего лишь игра с целью скрыть от сглазу хрупкое двуединство любящих сердец...

С «экранами» дела мои рыбацкие пошли гораздо успешнее. Уже не только мы, но и подружки баушки Лизы, вдовы старушки, нет-нет да баловались ущицей. И теперь при встрече с ними слышал не только обычное приветствие, но и непременно:

– Спасибо, Анисим, за рыбку. Уж такая вкусная...

И после слов благодарности непременно предлагали то яичек, то молока козьего. Я вежливо отказывался, ибо на яички у меня с детства аллергия, а козьего молока и у баушки Лизы хватало.

Так и жил-зимовал. Процентов со вклада хватало с избытком. Хлеб баушка Лиза сама пекла, муки на санках зимой привёз да в рюкзаке один приволок – зиму и ели хлеб. Ещё на чай, сахар и масло постоянно деньги требовались. И, чтоб стариков сладеньким побаловать, конфет да печенья покупал. Баушке Лизе конфеты «Коровка» нравились. Однажды купил ей целую коробку. Баушка сразу ту коробку в клеть убрала и доставала по вечерам из своего загашника по несколько конфет. Мы с дедом по негласному сговору конфет тех не касались, мол, в зубах застревают. И баушка Лиза в этом нас разуверить не пыталась.

Иногда на меня хандра находила. И тогда я по несколько дней не выходил из дому. Обложившись книгами, читал то одну, то другую. То просто лежал, разглядывая потолок. Баушка Лиза враз же вычислила причину такой хандры – порча и пообещала найти гадалку, чтоб порчу эту с меня снять. Но я отказался, объяснив это тем, что, если и этого не будет, то совсем пусто на душе будет – как в пустой бочке. У баушки и тут нашлось, что присоветовать:

– Раз отказываешься – значит, не порча это. Глядишь – и осчастливит тебя...

– Кто? – уточнил я.

– Других-то не надо тебе. Вон на центральной усадьбе скоко баб молодых да вдовых. Мог бы уж какую приискать. Ведь чо деется-то... У той – пьяный под трактор угодил; у другой – зарезали; у третьей – спился. А ты не пьёшь, образованный – любая б за тебя пошла. А раз не надо ни ту, ни ету, значит, третья появится... Уж поверь. Я скоко прожила...

Но не успокоила баушка Лиза, лишь больший разлад в душе посеяла. Может, и, правда, невесту подыскать? Жизнь-то долгая. Умрут дедко с бабкой, с кем куковать здесь останусь... Но отказался от такой затеи. Может, со временем перегорит то мимолётное. Тогда уж...

Уже и весна... В диком половодье разметнулась Еленка по лугам заливым; гнёт и треплет кусты ивовые по берегам, из воды былинками тонкими торчащие; упирается струями мутными в стволы вётел, тараня их льдинами, обдирая с жестокостью нещадной кору с их корявых и толстых стволов. Лишь березничек на острове малом выделяется среди мутных вод полых. И тянется к этим белоствольным робинзонам взор, стремится душа. Не выдержал, накачал лодку резиновую и перемахнул беснующуюся поверхность речную. На островке том мышей-полёвок собралось великое множество. Которые уже обжились на островке; которые только на сушу выбрались - мокрые и обессиленные возле самой воды прочухиваются; а которых уже неживыми прибило к желанному островку. Не стал я нарушать пристанище этих несчастных страдальцев и, постояв минут пять возле крайней берёзки, сел вновь в лодку, чтоб вернуться в деревню, что на бугре приткнулась, рассечённая, будто грубым шрамом – оврагом глубоким, в обрывистых берегах которого запекшейся кровью обнажилась красная глина, верно, за это и получило наше село когда-то название своё - Красногорье, что взгромоздилось в давние времена на этот глинистый пуп...

Недолго буйствовала Еленка. Неделя прошла, может, больше чуть - утихомирилась, вошла в берега разгулявшаяся река. И стала вновь тихой и покладистой, как отгулявший мужик, виновато укрываясь в ивовые заросли, которые так нещадно хлестала ещё совсем недавно, и, пряча от солнца жаркого в тени развесистых вётел.

Напоили и соком своим, весной и добром наполненным, берёзы могучие, что доживают долгие свои веки вдоль заброшенных трактов - дороге нынче спрямили, и теперь проходит она в трёх километрах от Красногорья через центральную усадьбу совхоза. А берёзы так и остались. Некоторые уже истуканами неживыми сделались, но стоят, держатся ещё некогда могучими кореньями за твердь земную и, верно, нескоро падут. Их поросль уж стариться начала; от поросли той ещё березки пошли - помоложе, постройнее; среди последних уже и ёлочки тянутся в тенистой дрёме, набирая силушку, чтоб однажды раздвинуть незадачливых покровителей и восстать над ними в благородном величии...

Май в самом разгаре: берёзки, что над Еленкой стоят редким леском, в листву молодую вырядились; яблони в садах одичалых в белое приоделись. После весны впервые лодку накачал и на промысел рыбацкий вышел. «Экраны» свои по всей реке раскидал, а сам к бережку пристал – туда, где берёзки вдоль реки по бугорку разбежались. Вверх поднялся – все поплавки, как на ладони, видно. Если попадётся рыбка, сразу увижу сверху. Поплавки пенопластовые белые на мутной ещё воде видны издали. Запляшут на воде – гребки к ним, рыбку принимай. Но, увы, поплавки лишь от течения слегка шевелились, да лёгкий ветерок ими поигрывал.

От безрыбья да безделья я на бережку под шорох листвы молодой

над головой - лёгкий и убаюкивающий - в раздумья и мечтания погрузился. Да так этому неведенью отдался, что всё окружающее, будто отдалилось, уплыло куда-то. И не сразу сквозь это забытьё расслышал, что зовёт будто кто меня.

— Анисим... А-ни-сим...

От наваждения такого да покоя так легко стало, что и про поплавки забыл, не глядел на них, куда-то за реку смотрел, будто благодатью такой ошарашенный. Что мне голоса, что мне рыба - всё побоку. Однако голос уж ближе и явственней раздался. И явно не из грёз.

— Анисим... Анисим...

Сперва подумал, что это баушка Лиза кричит (голос у неё молодой, звонкий - не сразу сообразишь, что не молодка зовёт). Но так не хотелось мне покидать благостное забвение, что решил не отвечать и не оборачиваться. Однако в голосе что-то неуловимо-знакомое послышалось. Даже почудилось - обернусь, там Лена стоит. Стоит среди берёзок, как в прошлых годах, и волосы русые по плечам струятся. Но таким нереальным казалось это, что сразу же и отогнал мысли такие. Но всё ж обернулся...

Паренёк какой-то приближался в джинсах, в свитерке голубеньком. Белобрысый, стрижка короткая. Невысокий - меня, наверное, на полголовы ниже. Когда же паренек ближе подошёл, фигура его подозрительной показалась - вроде девичьей. Когда же совсем близко паренёк оказался, то и вовсе убедился, что не паренёк, а девица это. И не просто девица, а Лена...

— Лена... — хотел навстречу к ней кинуться, да не могу. Будто прирос к земле. Да и прежде, чем встать, повернуться надо, а я и это не могу сделать, ибо придётся от Лены отвернуться на миг.

Таращусь, змеем выгнулся. Не помню, но, наверное, так и было: рот от удивления открыл и, как рыба на берегу, воздух жадно глотаю. Столько раз виделась мне эта встреча над Еленкой...

И вот стоит она передо мной, а пред ней я нараскоряку и не сижу, и не лежу. Предпринять что-то пытаюсь, но не могу.

Наконец, вывернулся как-то, в состоянии шока эдакого любой выкрутас над собой сотворить можно. Встал. Шаг навстречу Лене сделал. Второй.

Сказать бы что-то надо. А я смотрю во все глаза, только одно меня занимает и волнует в этот момент, а где же волосы её дивные, зачем красоту такую под ножницы?

— Здравствуй, Анисим. Не узнаёшь?

— Что, ты, Лена... Узнал... — наконец и голосишко у меня появилось. Верно, оттого, что не в глаза уже смотрел Лены, а обнял её крепко и к щеке прижался.

Потекли слова... Прорвало... Сколько стояли так и болтали - трудно

сказать. О чём я говорил - не помню. И вот из отрывочных фраз Лены вырисовывалась картина её жизни после нашего расставания на даче в прошлом году...

Оказалось: вернувшись из посёлка, куда ездила Лена за продуктами, и, не застав меня, поняла, что у нас с её мамой произошёл какой-то разговор, после которого я сбежал. Лена тут же хотела догнать меня, но Нина Петровна стала объяснять ей, что мы, дескать, не пара, что объяснила мне это, и я понял. Лёну такое объяснение не удержало, обидело даже, и она побежала на остановку. Автобус уже стоял на остановке той, но не трогался - видимо, водитель билеты пассажирам продавал. Лена поторопилась дорогу перебежать и не заметила из-за стоящего на её стороне грузовика встречный «жигулёнок»...

В итоге - сотрясение мозга, переломы и уйма мелких травм. Только в середине декабря из больницы её выписали. В больнице и волосы ей подруга обкорнала. Ещё два месяца дома долечивалась.

Состриженных волос ей тоже было очень жаль, но я успокоил её - коряво, как только я и могу:

— Кости целые, а волосы отрастут. Ещё краше станут, нежели были.

— Тебе хорошо говорить - не тебя ведь, как вшивую овцу, остригли. Зато сам, вон, бородой оброс, да и волосы, наверное, год не постригал.

— А что мне их стричь часто? Раз в год баушка Лиза бараными ножницами «под горшок» оболванит и ладно.

— Баушка Лиза - это соседка твоя?

— Да. А что, уже познакомились?

— Она мне и сказала, где тебя искать. Вещи у нее в доме оставила и к тебе... Молока ещё козьего попила - не понравилось почему-то.

— Это с непривычки. Главное, чтоб ещё что не случилось.

— Чего? - не поняла Лена.

— Случится, узнаешь. Пошли-ко домой. С дороги-то проголодалась. Да я и сам уже давно тут просиживаю без толку. Потом вернёмся - у меня лодка и «экраны» тут остались.

— Хорошо, пойдём. Я и вправду есть захотела.

— А меня как отыскала? - уже когда к деревне шли, спросил.

— О, целая история... Я даже фамилию твою не знала. Хорошо у тебя имя такое довольно редкое - Анисим. А был бы Саша или Сергей - век не нашла бы. А так, села на телефон, в одну контору позвонила, в другую - нашла, в общем, быстро. А вот куда ты уехал - никто не знал. Потом жену твою бывшую нашла. Через порог с ней поговорили, но она тоже ничего не могла сказать. Или не захотела...

— Да она не знает. Мы с ней ни разу не были здесь. Всё собирались...

— И ещё - дочь твою видела. Она со школы возвращалась, когда мы разговаривали. Очень на тебя похожа - счастливая будет.

– Ну не знаю... Без отца растёт - какое уж тут счастье.

– Но ведь ты не виноват.

– Она тоже...

– Ладно, не будем об этом. Я уж совсем отчаялась найти тебя. Когда в больнице была, попросила маму найти тебя. Но квартиру не помню - то ли тридцать вторая, то ли пятьдесят вторая.

– Тридцать вторая, - уточнил я.

– Мама сходила - в той и другой спросила: не живёт такой - ответили. Потом Вера - подружка моя ходила. Нашла. Но ты уже уехал. Парень, который живёт в твоей квартире, объяснил, помогал загружать контейнер, а вот куда - не знает.

– Так надо было в конторе Саню Смирнова спросить - он из райцентра нашего - земляк. Я ему деньги оставил и адрес сказал - на случай, если придут бандероли из «Книжной лавки». А на почте попросил, чтоб всё, что мне приходит - ему переадресовывали.

– Откуда ж я знала...

– А как нашла? Через милицию?

– Нет. Через военкомат. Вера присоветовала. В военкомате сначала и слушать не хотели. Мол, с учёта снялся, выбыл, куда не знаем. Справок не даём - говорят. Со мной тут истерика случилась - «скорую» хотели вызывать. Когда успокоилась, выслушали всё-таки. Я рассказала, что в больнице долго была, что поссорилась с тобой, что, как найти теперь, не знаю. В общем, пообещали всё разузнать. И сказали, когда прийти. И вправду - пришла, адрес мне твой дали. И присоветовали больше не ссориться до такой степени и под машину не кидаться. Вот так и нашла тебя.

– Ну, ты даёшь... - только и нашёл я, что ответить.

– Ты не рад, Анисим?

– Рад. Я всю зиму ждал. Не единожды ехать к тебе собирался, но думал...

– Он думал...

– Прости. Я ведь ничего не знал.

– Нет, ты меня прости.

Я рассмеялся.

– Ты чего?

– Ты меня простила, я тебя простил... Теперь мы два прощелыги.

За разговором да беседой незаметно и к дому подошли. На лавочке под окошком сидели дед Степан и баушка Лиза. Они, щурясь - хотя солнце уже за вёклы закатилось - смотрели на нас по-доброму, с умилением. Представив им свою гостью, я уж хотел мимо пройти, с Леной - в дом свой. Дед Степан и не возразил - лишь молвил тихо, будто высказал какую-то мысль вслух:

– Ну, чисто-начисто голубки...

Баушка Лиза же возмутилась:

– Эт, какими-такими кушаньями-раскушаниями ты принцессу свою потчевать будешь? И не выдумывай-ко, заходите в избу. Я уж всё тама приготовила.

И был роскошный то ли обед, то ли ужин - картошечка с груздями и рыжиками солёными; огурчики такие крепенькие и хрустящие, что не в рот просились, а обратно на грядку подрасти в ширь-в длину, чтоб семя своё пустить в землю; помидорчики и описывать не буду – разве могут они глаз не радовать, если приготовлены такой мастерицей как баушка Лиза...

А что за застолье без чекушки... Потом ещё чай из самовара пили с вареньями разными: не торопясь-смакуя...

Не было свадьбы... Не кричали нам «Горько!»... Но была брачная ночь... И только утром вспомнил я про лодку и «экраны» по всей реке понаставленные.

На реку мы отправились с Леной. Я собрал «экраны». Их так забило грязью и мусором, что тонкая леска превратилась в коричневый скользкий шпагат. И, естественно, рыба такое страхолудище обходила стороной. Ещё долго катал Лену по речке - жалел при этом, что не июль - каких бы красивых белых лилий собрали в роскошный букет. Потом сидели на бережку, ждали, покуда высохнет лодка и, молча, смотрели на Еленку. И каждому виделось своё – о дальнейшем мы ещё не думали.

Ещё мелькнуло в мыслях, что какая-то это несуразность: в наше вертлявое время и вдруг такая любовь... Разве возможно такое?

Но успокоил себя тем, что, может, и даётся человеку она в самые смутные времена, чтоб не разуверился он в идеалах добра и любви; в красоте мира, в котором он живёт; в твореньях разума его; в силе и величье души бессмертной.

Домой возвращались по дороге вдоль поля. Заросло оно – уж года три его не распахивают. И вспомнилось уж далёкое поездное:

За берёзами поле,
а по полю жнивье...

Пусть и нет никакого жнивья, но мне-то другое уж продолжение слышится: «... счастье моё!»

КОНСТАНТИН СИТНИКОВ

ЖЕНЩИНА В ЛЕСУ

Рассказ

Как-то зимой, часов в шесть, когда уже совсем стемнело, я шёл в посёлок к знакомой, чтобы провести с ней вечер, а если повезёт, то и ночь. Идти нужно было через железнодорожные пути и берёзовую рощицу, отделявшую их от городской окраины. Расстояние небольшое, километра четыре напрямки. Приятный морозец и не менее приятная мысль о чекушке, лежавшей у меня в кармане, заставляли ускорять шаг. За сугробами смутно белели голые берёзы, высоко в путанице веток чернели грачиные гнезда. Сверху сыпал лёгкий снежок.

Через полчаса я вышел к железнодорожной насыпи. Запахло мазутом. В темноте справа мерно мигал далёкий белый семафор, словно бы говоря, что всё в мире спокойно. Где-то там, скорей всего, был полустанок, горел в будке жёлтый свет, ходил, простукивая рельсы, путеобходчик в рыжей куртке. А здесь были только ночь, лес и я. Я поднялся по насыпи и уже собрался пересечь пути, как вдруг, случайно обернувшись, увидел человеческую фигуру. Это была женщина. Она стояла внизу, почти у самого леса, спиной ко мне и железной дороге, лицом к деревьям, как будто ждала кого. Вся её фигура выражала напряжённое ожидание. На ней была тёмная шуба, на голове белый платок. Она стояла совершенно неподвижно, привалившись плечом к столбу, чуть сгорбившись, и казалось, пристально вглядывалась в лес.

Это было так странно, что я остановился в недоумении. Кто эта женщина? Кого ждала она? Почему была в лесу совсем одна? Может, ей нужна помощь? Было в её чуть сгорбленной спине, в слегка опущенных плечах что-то такое, что словно просило о сочувствии. Не знаю почему, но я сразу понял, что она в беде. И, похоже, стояла она здесь давно, снег совершенно занёс её следы. Но что я мог поделать? Окликнуть её и предложить свою помощь? Что-то удерживало меня от этого. Она наверняка слышала мои шаги, но даже не шелохнулась, не оглянулась. А вдруг она хотела остаться незамеченной? Вдруг она занята чем-то важным для неё и не хочет, чтобы ей мешали? Но чем?

Ситников Константин Иванович родился в 1971 году в Тульской области. Автор 2 книг. Живёт в Йошкар-Оле.

Только сейчас я заметил в её руках какой-то тяжёлый свёрток, припорошенный снегом. Внезапная догадка заставила меня вздрогнуть. Это был ребёнок, младенец! Женщина пришла в лес одна, с младенцем в руках. Что она задумала? Нелепые, старинные страхи зашевелились во мне. Какие-то соблазнённые и погубленные женщины, какие-то лесные разбойники и прочая литература полезли в голову. Пришлось напомнить себе, что времена погубленных женщин и разбойников давно прошли.

И вообще, какое мне дело до этой женщины и её ребенка! Меня ждёт Люся, чекушка, солёные грибочки... И все же, прежде чем спуститься с другой стороны насыпи и продолжить путь, я ещё раз пристально взгляделся в спину неподвижно стоявшей женщины, пытаясь проникнуть в её тайну. И весь оставшийся отрезок пути она стояла у меня перед глазами. Даже мысль о скором свидании с Люсей и всех связанных с ней приятностях уже не радовала меня так, как радовала полчаса назад. Но вот показались первые поселковые фонари, и тягостное впечатление от встречи в лесу потускнело. Мимо меня прошла с гоготом местная шпана, пробежала с деловым видом уличная собака — все были заняты своими делами и никому ни до кого не было дела.

Вот и дом моей знакомой, второй подъезд, второй этаж. Звоня в знакомую дверь, я и думать забыл про женщину в лесу. Но почему так долго не открывают? И чей это мужской голос раздражённо бубнит за дверью? Замок щёлкнул, дверь приотворилась на ширину цепочки, в щели блеснул женский глаз.

- О, чёрт, - шёпотом сказала Люся, увидев меня. - Ты, что ли? Совсем забыла!

- Мы ж договаривались, - напомнил я, чувствуя приближение разочарования.

- Ну да, договаривались, - кисло согласилась Люся всё так же шёпотом. - Только я это... ты меня извини... не могу я, в общем.

- Да что случилось-то? - закипая спросил я. К разочарованию прибавилось раздражение. - Я почти час сюда пёрся.

Ответить она не успела.

- Кто там, Люська? - донёсся с кухни грубый мужской голос. - Гони всех к чёрту. А то шас выйду — ноги выдерну.

- Не могу я, - торопливо повторила Люся. - Брат у меня вернулся.

- Какой брат? - не понял я. - У тебя же нет никакого брата.

- Двоюродный, - сказала Люся, убегая взглядом в сторону. - Ну чего ты пристал? Говорю тебе, не могу я сейчас. И вообще, не ходи ко мне больше, ладно?

- Люська, стерва! - взревели на кухне. - Ну, дождёшься ты у меня! Муж с тюрьги вернулся, по ласке соскучился, а она...

- Ну всё, ну пока, - бросила Люська умоляющим голосом. - Прости, что так получилось. Не приходи больше. - И она захлопнула дверь перед самым моим носом.

Я стоял на лестничной площадке как мешком прибитый. От былых предвкушений остались руины. Ну и что прикажете делать? Возвращаться домой не солоно хлебавши? Ну уж нет! Я достал из кармана чекушку, сорвал крышку и, присосавшись к горлышку, одним махом опустошил бутылёк. От водки мне полегчало. Озябшему телу стало тепло, в голове приятно зашумело, разочарование и раздражение улетучились. Ну и к чёрту эту Люську! Что, кроме неё, женщин на свете нету?!

И вспомнилась мне женщина в лесу. Как стоит она там с ребёнком на руках, всеми брошенная, не знающая ничьего участия, одна-одиношенька на всем белом свете. И некому-то её пожалеть-приветить. И взбрела мне в голову дикая мысль, что я могу быть тем, кто её пожалеет. Глупо, конечно, но тогда мне это не казалось глупым. Я быстро спустился вниз и побежал по улице. Снег перестал, но мороз усилился, изо рта вырывались плотные клубы пара. Конечно, смешно было надеяться, что женщина всё ещё стоит там, на краю леса, и ждёт неведомо чего. Но... кто знает?!

К моему удивлению и радости женщина была на месте. Она стояла всё в той же позе, чуть сгорбившись и привалившись плечом к столбу, пристально вглядываясь во тьму. Снег почти накрыл её и ребенка. Я должен был спасти их! Проваливаясь по колено в сугробы, я стал спускаться к ним. И вдруг, когда до них оставалось шагов десять, я замер на месте. Я всё понял.

Это была не женщина. Это был занесённый снегом столб.

АННА ВАСИЛЬЕВА

**ЛЕГКО ДЫШАТЬ
МНЕ СТАЛО НЕВОЗМОЖНО**

ФЕРМАТА

В нашем городе
стынут в холоде
на семи ветрах
сто дорог.
На семи крестах,
на семи путях
сторожит меня
вещий страх.
Хоть оглядывай –
не оглядывай,
я иду одна
много дней
безотрадная,
ненарядная,
и судить меня
ты не смей.
За высокою
за оградю
сбросил рубище
новый день –
улеглась тоска,
будь неладная,
жизнь обманная –
дребедень.

Васильева Анна Георгиевна родилась в 1952 году в Волжске. Автор 3 поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в Волжске.

СТАРАЯ КАССЕТА

Щемит душу от лунного света,
и боюсь: не успею к восходу
досмотреть жизни прошлой кассету
дряхлой памяти снова в угоду...

Бег по кругу меня хороводит
серой белкой, какая потеха!
раствориться в слезах предлагает,
только слёзы сегодня – помеха.

Наледь зимняя (шум по карнизу)
снежной дымкой сползла по рассвету –
я по прошлому справила тризну,
я успела... Теперь я... уеду.

БЕЛАЯ ВОЛЧИЦА

Одинокой волчицей белой
я по серому-серому насту
уходила снегами талыми,
пробиралась путями ненастными;
на рассвете таёжными тропами –
на чужую уже территорию,
– Ты куда? Ты куда, очумелая...
искажённое эхо вслед вторило.

Одинокой волчицей белой
растерзала я время на части
и, застыв на кривой в апогее,
заменила распад свой на счастье.

РУКОМОЙНИК ПЕЧАЛЕЙ

Рукомойник печалей всех – слёзы –
сон... поведала другу об этом,
друг в ответ, что со мной невозможно
жить и верить в такие приметы.

Рукомойник печалей всех – слёзы,
но в исход инфантильности верю:
всё равно эмбрион подсознания
протащу сквозь размытые двери.
В лабиринте мирских закоулков
повстречаюсь я с метаморфозой,
беспокойное сердце так гулко
будет биться, так биться тревожно...
И тогда в безвоздушном пространстве
я свою нелюбовь одолею,
и цветочной пылью по дороге
прах бывшего рассыплю ...рассею...

Рукомойник печалей всех – слёзы,
я об этом ему рассказала,
– Не бывает такого, – ответил,
расставаясь со мной у вокзала,
я его понимала: лукавит
и скрывает нутро под личиной...
И такое на свете бывает,
видно, есть и на это причины.

АРКАИМ

Аркаим, мою прародину,
затуманили века:
под серебряными сводами
жизнь хрустальная тонка.

Замели пустые хлопоты
всё, что было на пути...
Аркаим, моя прародина,
ты звездой в пути свети.

За судьбу свою, скиталицу,
ухватилась и бреду
в Аркаим, спешу на родину,
через счастье и беду.

ВНЕ ЗАКОНА

Проём окна пульсирует венозно
и чёрной кровью кажется сквозь тюль...
Легко дышать мне стало невозможно,
и будто грудь сдавил пудовый куль.

Проём окна пульсирует венозно –
я дотянусь... я тьму преодолею,
и кажется, что всё ещё не поздно
зажать ладонью раненую шею.

Как неприглядный стикер по стене,
сползают на пол красные разводы,
и выхожу я из себя во вне,
во вне закона собственной природы.

ГАДАЛКА

Белым-бела дорога дальняя,
И жгуч гадалки дикий взгляд:
Судьбу пророчит он печальную
И путь безрадостный назад.

Клюкой выводит непонятный мне
Узор на девственном снегу,
По ветру – космы неопрятные,
Понять старуху не могу.

А та с издёвкой улыбается:
– Не понимаешь?
– Не могу...
– Так знай – удача распрощается
С тобой на сонном берегу.

Моей руки слегка касается
Она как будто невзначай,
И снежным вихрем поднимается
Во мне извечная печаль...

Остановить хочу гадание,
Кольцо снимаю:
– На, бери...
Белым-бела дорога дальняя,
А вдоль дороги – фонари.

ОСТРОВ

Небо клонится к тихой печали –
За туманом невидим стал остров,
Мне вдогонку как будто кричали:
– Разобьёшься, любовь, осторожно!

Мне вдогонку кричали, и что же?
Я ладони к нему протянула:
– Он убить и поранить не может...
За мгновенье до смерти мелькнуло.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Укачала грусть-тревогу
на семи ветрах
в колыбели из ромашек
да душистых трав.
И луна светить мне будет
нынче до утра,
всё плохое позабуду:
спать давно пора.
Спи, душа моя, негоже
по ночам бродить
и печаль-тоску тревожить,
надо прОсто жить
и не думать о грядущем
беспокойстве дня,
спи, печаль моя, но лучше
позабудь меня.

РАЗРЫВ

Разрываю тенью нити,
что связали нас с тобой,
без упрёков и наитий –
уходи, посредник мой.

От глагольных перебранок
потеряла с миром связь
и венки из листьев пряных
уронила прямо в грязь.

ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВ

САНЬКИНА ЛЮБОВЬ

Рассказ

За посёлком Приволжским берёзы и осины наливаются грудным весенним соком, вот-вот брызнут народившейся зеленью листвы. Из земли изумрудными стрелами пробивается молодая трава. На все голоса поют птицы, старательно выпевая каждое коленце брачной песни.

Особенно старается рябая кукушка в хвойном лесу. Всю весну до лета слышен её нотный гармошкин голос: ку-ку! ку-ку! Тут попоёт, там попоёт, легкомысленно кланяясь во все стороны, а настанет время – и подкинет своё нагуленное яичко в чужое гнездо: пусть её птенца другие растят. Не знает она материнских забот, уж такая у неё беззаботная жизнь лесной артистки.

Но мир не един кукушками. Берегом реки, шурша прошлогодней листвой, идут голодная медведица и её сыночек – медвежонок.

Отощавшие бока и живот матери втянуло, но бурая густая шерсть зверя ухожена, чиста. Оттопыренные, округлые уши медведицы всё время напряжены, а необычайно подвижный кончик носа на узкорылой морде фильтрует воздух. Мать, не теряя из виду шаловливого малыща, ищет пищу. Перевернув сильными когтистыми лапами упавшее дерево или разодрав старый пенёк, она слизывает найденных червей и личинок. Насытиться такой мелочью трудно, потому кормящая мать выходила на привычное дело ещё засветло. Конечно, можно было бы питаться приличнее, она так часто видит пасущихся домашних животных. Могла бы свободно завалить бычка или дойную корову. С наслаждением бы съела вымя, полное жирного тёплого молока. Но медведица строго блюла неписанный закон добрососедства с человеком.

Медвежонок резвился, бегал кругами, кувыркался или по-ребячьи обнюхивал подснежники. Вконец уставший, он прильнул к розовым соскам матери и громко зачмокал, в наслаждении закрыв глаза. А медведица, сидя на холодной земле в позе уставшей крестьянки, бережно прижимала к груди дорогой ей пушистый комочек и была счастлива в этом лесу...

Васильев Леонид Михайлович родился в 1947 году в п. Юркино Юринского района. Автор 3 книг. Член Союза писателей России. Живёт в п. Карасьеры Юринского района.

Под окнами дома молодого лесника Саньки Зернова отцвела бело-снежная черёмуха. Словно холодной пенной волной прокатилась по садам посёлка, отшумела, уронила цвет.

Вслед за черёмухой отогрелась под солнцем сирень. Расцвела, взволновала нежным ароматом, позвала как блуждающий ветер в неясную далёкую даль.

Каждый вечер, придя домой и сняв с себя рабочую одежду, Санька с надеждой смотрит через дорогу – не мелькнёт ли там среди кустов личико его зазнобы Наташки. На её окна он мог посмотреть часами и если вдруг увидит её у колодца, обязательно выйдет навстречу и, растягивая слова, как истинный волжанин, спросит:

- Ната-аш, ты сегодня в Дом культуры идёшь?

- Не знаю, - отвечает стройная кареглазая девушка. – Пойду, наверное, сегодня репетиция драмкружка.

- А я думал, фильм будет, - разочарованно хмыкает Санька, - а танцы будут?

- Не знаю, наверное, будут.

- Вот и хорошо, попрыгаем на площадке.

Вечером по всей округе сердечно защёлкали соловьи. Молодёжи возле ДК собралось много. В главное помещение не пускали – шла репетиция художественной самодеятельности. Танцы будут позднее.

Всей работой дома культуры заведовал Эдуард Забавин – выпускник режиссёрского отделения.

Не имеющие талантов парни и девушки бесцельно толкались на танцплощадке. Представители сильного пола, сгрудившись, курят, травят анекдоты, хохочут, а деревенские дамочки, ладно одетые, кокетничают, кому-то подмигивая, прячут зардевшиеся личики за букетами сирени, не обращая внимания наседающих комаров.

Здесь, в комнатах ДК, сельские таланты приобщаются к искусству. Любопытные ровесники смотрят на самодеятельных артистов в окна. Среди молодёжи тусуется блюститель порядка – участковый инспектор Евгений Зимин, рослый, небрежно одетый лейтенант. Работы ему хватает: то кражи раскрывает, то задиристых «петухов» разнимает.

Санька искал Наташу. Взобравшись на завалинку возле стены, он глянул в окно, там в помещении пел хор, среди поющих её не нашёл. Перебрался под другое окно, здесь звучала музыка и, несколько пар, приняв грациозные позы, репетировали бальный танец. Санька увидел свою подругу на сцене главного зала и прильнул к стеклу. Возле девушки стояли режиссёр Забавин и знакомый парень – Наташкин партнёр по сцене. Забавин, активно жестикулируя руками и что-то объясняя, подталкивал парня к девушке. Санька пытался понять: кого эти артисты изображают.

Вот парень, восторженно, прижав ладони к сердцу и готовый его вырвать из груди, двинулся вперёд. И Санька сообразил – это идёт сцена

по Горькому – Данко. Но когда парень стал неумело обнимать Наташку, Санька, жарко дыша в стекло, пробормотал: «Нет, у Данко не было Наташки». Меж тем режиссёр недовольно остановил парня и вновь показал, как надо играть с чувством.

Эдуард Забавин молод и ладно сложен, его улыбку на лице правильной формы украшают тонкие чёрные усы. Нежно глядя на Наташу, он опустил на колени, прижав ладони к груди, а затем страстно потянулся к девушке, обнял и стал целовать. Наверное, от нахлынувшей ревности Санька сорвался с завалинки и больно ударился коленом о землю...

Шумные танцы окончились за полночь. Молодёжь группами и парами расходилась по домам, растворяясь в темноте. На небе, как огни огромного далёкого города, мерцают крохотные точки звёзд.

Рядом с Наташей, стараясь не думать об увиденном на репетиции Забавина, идёт Санька.

- Красота-то какая вокруг! – выдохнул он.

- Да-а, - ответила девушка, - красиво ночью, а днём лучше ощущаешь, как сирень цветёт и так здорово пахнет.

- А в лесу ещё красивее, я люблю лес, - признался лесник.

- Но настоящая красота идёт со сцены, - вздохнула девушка.

Санька, испытывая ещё не прошедшее чувство ревности, потёр ушибленное колено и чуть было не сказал: «Это когда целуются?» Но, вовремя спохватившись, промолчал.

Наталья мечтательно заговорила о театре, а Санька думал о своём, что так волнует его. Всех девчонок в селе взбудоражил этот Забавин, липнут они к нему, как мухи. И ещё знал Санька точно – режиссёр к Наталье не равнодушен.

- А можно узнать, что вы репетировали на сцене? – спросил Санька.

- Это не что, а Шекспир. Понимаешь, Саня, в одном городе враждовали между собой две большие известные семьи – Монтекки и Капулетти. Доходило до убийства. Но несмотря на это их дети – Ромео и Джульетта – полюбили друг друга, потому что любовь вечна, ей не страшны никакие преграды. Красота и любовь спасут мир. А научить этому, то есть тонко понимать чувства, могут только артисты.

- Но почему только артисты? – заспорил Санька, - в этом деле поэты, поэзия посильнее будут. Стихами в несколько строк можно выразить огромные чувства, сказать о главном. Вот, Наташа, послушай:

Посмотри, как холод небо вызвездил.

Вот сорвалась звёздочка, растаяла.

Ездил, ездил, ну и что я выездил?

Поигралась просто и оставила.

Посмеялась, душу искалечила,

Заморозив серебристым инеем.

Этим лютым холодом отмеченный
Я гляжу на звёзды в небо синее.

Санька робко посмотрел на девушку. Наташа стояла рядом. Тёплый ветерок едва шевелил подол белого платья, оголённые руки подружки тербли густую косу. В глазах Наташи искрились отблески дальних зарниц. Она улыбнулась и тихо спросила:

- Чьи это стихи?

- Это написал пока ещё малоизвестный поэт – Николай Лопарев...

- А почему?...

- Что почему?

- Почему малоизвестный-то? – настаивала Наташа.

- Ну, вероятно, скромный он, не гонится за славой и известностью.

- Очень жаль, стихи красивые, проникновенные, а ты его стихи ещё знаешь? – спросила девушка.

- Пожалуйста:

Я б лицо твоё – сладкую ватрушку –
Облизал бы и начало жевать!

- Саша, ну я же серьёзно, - возмутилась Наташа.

- Ладно уж, сейчас вспомню:

Напоит весна берёзы соком,
Снег умчится талою водой,
Любоваться глухариним током
Ночью в лес возьму тебя с собой...

2

Церкви в посёлке Приволжском нет. Здесь, на высоком месте, построено здание для администрации сельского совета. Велико значение его в жизни селян, однако старики всё чаще поговаривают и о храме для души: «Есть, - говорят, - клуб для молодёжи, надо бы и старикам хоть бы филиал Русской православной церкви. Вон что в мире-то творится, это всё от безбожия, где нет молитвы – там правит диавол. Ведь забыли люди заповеди Господни, как праведно жить на миру».

В одном из кабинетов администрации творит мирские дела страж правопорядка, участковый инспектор милиции Евгений Зимин. Работы у него хватает. Он протоколы составляет на нарушителей законов, то ведёт приём граждан по личным вопросам. Вот сегодня его посетил мужчина лет сорока пяти с заявлением о краже.

Зимин узнал, что у заявителя ночью украли мотоцикл, взломав замок сарайки. Сторожевой собаки у хозяина нет, вор воспользовался грозой, которая прошла ночью.

Участковый заявление принял и заверил, что техника будет найдена и возвращена владельцу.

Гражданин ушёл, а Зимин, покуривая сигарету, ощутил, как это бывало раньше, нарастающее профессиональное волнение и дрожь сыскной собаки перед броском.

У начальства и среди коллег по работе Евгений Зимин не на последнем счету. В органах он всего несколько лет, но уже раскрыл десятки преступлений. В работе себя не жалеет. Выслеживая преступников, может несколько ночей не сомкнуть глаз.

Зимин приступил к розыску. Прежде всего он собрал верных ему парней и рассказал о ситуации:

- Опять на моём участке объявился вор – этой ночью украл мотоцикл.

- Какой марки? – уточнил одетый в шерстяной свитер и потёртые джинсы худой парень по имени Михаил.

- «Иж Планета-5», - ответил участковый, - а условия для кражи были идеальные. Ну, во-первых, у хозяина нет собаки, во-вторых, замок на дверях был несоответствующий, а главное - ночью была гроза, всё произошло под шумок. Я думаю, мотоцикл угнали либо по наводке, либо это сделал кто-то хорошо знавший владельца.

Дружинники зашевелились, заговорили меж собой, высказывая свои догадки. Михаил толкнул толстого Ивана:

- Вань, ты не догадываешься, кто бы это мог?

- Чё я те колдун, что ли, вот так, сразу. Тут покумекать треба!

- Так, - продолжал участковый, - мотоцикл относится к классу тяжёлых и требовал ремонта. Из сарая его увели не менее двух человек.

- Дак его на запчасти уволокли, что ли? – поинтересовался Михаил.

- Вот когда найдём воров, тогда и спросим их, - пообещал Зимин и, разложив на столе карту района, продолжал: - Вот что, други мои, вы сегодня поговорите с молодёжью об этом деле, а особенно не пропускайте подвыпивших, от них можно узнать больше. Ну, а если разведка ничего не даст, будем искать пропажу по всему району, обследуя квадрат за квадратом...

На селе много приверженцев телевизионных программ, но молодёжь, в основном проводит свой досуг в Доме культуры и кружках художественной самодеятельности.

В Приволжский ДК худрук Забавин попал по направлению министерства – так сказать, закрепить теорию практикой. Вообще он мечтал о столичном театре и мысленно видел себя в будущем народным артистом или заслуженным деятелем искусств. Однако на селе он оказался всё-таки не по иронии судьбы. Родом он из этих краёв и однажды увидел белокурую красавицу Наташу. Вот и решил поработать пару годков на периферии. Всё складывалось хорошо. Бывший выпускник института творчески вырос, возмужал, получил известность. Но мечта о столице владела им всегда. Он и способную Наташку решил взять с собой. Ну где

ещё найти ему неиспорченную современной моралью невесту, имеющую целый букет данных от Бога – неповторимую красоту души и тела, неподдельную искренность в общении. Она по-крестьянски работающая, а главное – как поёт и танцует. Можно сказать – готовая артистка. Наташа просто рождена для сцены, и это видно. Конечно, она ещё неопытна, ещё не сошёл отпечаток девственной наивности – краснеет от стыда при поцелуях, когда он работает с ней над образом. Ну, это со временем пройдёт, хотя скромность украшает человека, в особенности женщину. Эдуард Забавин давно приворожил девчонку, поманит – она за ним хоть на край света.

Худрук решил показать селянам прощальный спектакль и перебраться в город, где давно его ждут. «Хватит самодеятельности, надо менять русло жизни в другое направление. Скоро уедут они с Наташкой в столицу, она будет учиться в театральном, а он работать по специальности, где много праздничного света, улыбок и аплодисментов. Жить они будут в его городской квартире», – обдумывал Забавин.

Если взглянуть на округу с высоты полёта жаворонка, увидишь сияющую гладь Волги, большой посёлок, на десятки километров окружённый лесами, и паутину пыльных дорог, направленных к усадьбе Приволжского лесничества, приютившего свои деревянные постройки у подножия высоченного бора. В старину такие леса называли корабельными, из них строили прочные корабельные мачты. Теперь другие времена, но при виде таких редких золотоствольных великанов у любого вырвутся слова уважения: «Вот это настоящий корабельный бор!»

Каждый день в конторе лесничества собираются рабочие, лесники, механизаторы. Молодой лесник Санька Зернов приходит сюда, пожалуй, раньше всех. Сядет на скамеечку возле врытой под окурки бочки и, глядя на сосны-великаны, поджидает товарищей и своё начальство.

С появлением лесничего здесь каждый получает наряд на работу, и люди расходятся по делам.

Санька ходит с топором на рубки по уходу за лесными культурами. Работа простая – идёшь по рядам молодых сосен и всё лишнее вокруг их стволов вырубашь – не любит сосна тесноты, к тому же культуры часто страдают своими лесными болезнями.

Обход у Саньки Зернова большой – не одна сотня гектаров спелых хвойных, лиственных пород, много и молодняка. И всё это под охраной и на совести молодого лесника. Санька работает засучив рукава, и дело спорится. Ему не одиноко – с Волги доносятся густые гудки пароходов и барж. В минуты отдыха Санька любит выйти на берег, взглянуть на освежающий речной простор, и смотреть на белогривые барашки сине-зелёных волн, на лебединую грацию пассажирских лайнеров. В такие минуты его чувствительная душа переполняется мечтами и любовью.

Как-то вечером, совсем уставший от работы, он вдруг прямо перед собой увидел закиданный ветками мотоцикл. Не выпуская из рук топора, он обошёл его вокруг. Сообразив, что дело тут нечистое, побежал к дороге, где вот-вот должно проехать «лесниковское грузотакси».

Едва добравшись до села, лесник сообщил участковому о своей неожиданной находке.

Лейтенант Зимин тотчас отправился на указанное место. Устало глядя на обнаруженный мотоцикл, обступив его, они молча курили. Некурящий толстый Иван, вытирая с лица и шеи обильный пот, недовольно пробормотал:

- Та-ак, мотоцикл на месте, а колёс-то – тью-тью, свинтили и унесли.

А Михаил, открыв боковую крышку, воскликнул:

- Чудеса! Даже аккумулятор на месте!

- И не только аккумулятор, вон и двигатель ещё не снят. Сие означает: сюда воры ещё вернутся, добра тут много, - констатировал участковый.

- Ё-моё! – восклицал толстый Иван, - ну что за люди эти воры! Бегай, потей по их милости, как будто дома делать нечего.

- Руки надо отрубать таким на людном месте, только так можно искоренить воровство, - рубанул Михаил.

- Дак у нас законы мягкие, потому и воруют, - настаивал Иван.

- Слышь, участковый, а ты за эту находку премию получишь? – поинтересовались дружинники.

- Ага, получу – фигуру из трёх пальцев. Раскручивание подобных краж – это наше обычное дело.

- Понятно, но это не порядок. А владельца мотоцикла надо бы обязать платить за розыск – за оказание услуг. В следующий раз он подумает об этом и так спрячет своё мото, что сам чёрт не найдёт.

- Да перестаньте, мужики, не нам об этом судить. Наше дело — закон выполнять, - шикнул участковый, - давайте-ка лучше подумаем, что дальше нам делать.

- Что тут думать, надо дожждаться грабителей и взять с поличным, да в качестве профилактики дать по сопатке, - предложил Михаил.

- Верно говоришь, - согласился инспектор, - надо ждать.

- Но без сугрева-то ночью околеет, - выразил сомнение Иван. - Ты, Мишка, обезжиренный, лёгкий на ногу, сбежал бы в гастроном, а? - попросил Иван.

Деловое предложение товарищи приняли единогласно, Мишка отправился в село. Быстроногому дружиннику позавидуешь, ещё до наступления ночи вернулся к товарищам. Округлое лицо Ивана просияло.

- Ну, притаранил горячее?

- А чё мне зазря-то бегать, счас греться будем!

- Глянь, участковый, а он вроде не замёрз — из-под кепки пар валит, а во рту, поди, слюни кипят, а греться задумал... хи-хи!

- Будет тебе издеваться, вытаскивай из сумки «аршин» -то да наливай поскорей, чё зря подбородком трясти, - злился Михаил.

Иван налил себе последнему, потому как ёмкость для питья, именуемая аршином, была одна на всех, а, выпив, усталился на друга.

- Чего?.. - спросил тот. - Где закуска-то?

- А это что перед тобой?..

- Только ржаной хлеб? - разочарованно пискнул толстый Иван.

- Может тебе шашлык подать или хороший шмат докторской колбасы, - буркнул Михаил.

- Да уж, от тебя дождёшься колбасы, но луковицу ведь мог с собой прихватить.

- Мог, но я домой не заходил. Попробуй-ка, появившись — Зинка заорётся, на ночь из дому не пустит.

- Да, это верно. Всегда с бабами так, не понимают они важности ситуации, - согласился Иван и, махнув рукой, предложил:

- Ну, давайте выпьем ещё по одной.

- А вот так говорить не следует, - встал участковый Зимин.

- Это почему?..

- Ко мне рыбинспектор заходил, рассказывал. Они попу Василию на Пасху рыбы привезли и, как полагается, выпили. Батюшку развезло, он сходил в келью и ещё водки принёс. Один из них сказал: «Ну, давайте выпьем ещё по одной». А батюшка ему заметил: «Сын мой, так говорить нельзя, из сказанного следует, что только по одной, и больше не нальют. Я же говорю всегда так: «Дети мои, давайте выпьем по единой! Во-о!»

Ваньке понравилось выражение, и он, встав, огласил:

- Ну, дети мои, предлагаю выпить ещё по единой!

Михаил захлопал в ладоши:

- Bravo, Иван, молодец, хорошо умеешь говорить!

- А я ваще весь хороший, я такой, - похвалился толстый Иван и, попытавшись изобразить друзьям реверанс, неуклюже упал.

Михаил прыснул от смеха, а участкового прорвало до слёз.

- Ванька, да тебе надо на сцене людей смешить!

- Не-е, я в артисты не пойду, - отмахнулся Иван, - от меня на сцене половицы трещат, пушай уж Забавин сам девок целует. Ха-ха-ха!

- Скоро уедет худрук, - заметил участковый, - говорят, и Наташку-воспитательницу с собой берёт.

- Дак она в театральный поступить хочет, - как бы к слову произнёс Михаил.

- А ты откуда знаешь? - спросил Иван.

- От верблюда, Наташка мне — двоюродная сестра.

- Ишь ты, не знал, что в твоей родне есть артисты, - покачал головой Иван.

- Ходят слухи — Наталья любит худрука, - подмигнул участковый Зимин.

- Может быть, дело ведь молодое, - отвечал Михаил.

- Нет, не любит она его, в нём форсу, как у Барбоса блох, - заключил Иван.

- А ты как знаешь? - набычился Михаил.

- А я родная сестра Наташи! - засмеялся толстый Иван.

- Не смешно! - воскликнул Михаил.

- Да перестаньте, петухи! - цыкнул на приятелей участковый, - шумелись, грабителей спугнёте. Чем шуметь на весь лес, давай, Иван, насыпай ещё по единой.

Лениво закусывая ржаной коркой, Зимин покосился на толстого приятеля глазами сушёной рыбы.

- Чего это ты, Иван, про Барбоса-то ляпнул? - спросил он заплетающимся языком. - А-а... ну, ты прав, конечно, сравнивая человека и собаку. Иная собака обладает всеми достоинствами человека, кроме его недостатков... Вот скажи мне, какая разница между строителем, кулинаром и врачом?.. А-а, не знаешь, а я скажу: строитель прячет свои ошибки под щекатуркой, кулинар — под майонезом, а врач — в земле... Как ты думаешь, а органы совершают ошибки?

- Ну, когда государством правят люди жёсткие, бездушные — всегда бывает много репрессий, а через годы столько же реабилитаций.

- Так в жизни без силы, без давления не обойтись — душевность тут помеха, да и нет её души-то, - убеждал Зимин.

- А я так считаю, - тихо заспорил Иван, - есть глаза — есть и душа. Она даже у животных и птиц есть.

- Эх, Ванька-Панька, чем философствовать, ты бы с женой отношения наладил, - советовал участковый. - Я тебе вот что скажу: чтобы с женой жить хорошо — надо с ней больше спать.

- Пробовал — стал просыпаться на работу, начальник чуть не уволил, - отшутился Иван.

3

В ночном лесу зычно крикнул филин, «охотники» насторожились. Прошло несколько минут ожидания.

- Тихо, нет никого, — прошептал Иван.

- Ага, - согласился Михаил, - наверно, сегодня воры не придут.

- Могут на рассвете появиться или днём, - заверил участковый.

Светало. Небо на востоке сначала озарилось зелёным бархатом, а приняв далёкие лучи рассвета, засияло позолотой. В лесу сначала робко запели певчие птицы. Но вот проснулись дрозды и звонко, как на флей-

тах, засвистали свои музыкальные импровизации утренней заре. Подала голос и рябая кукушка.

Иван, повернув голову, прислушался, а затем тронул плечо участкового.

- Слышь, кукушка запела? Голос у неё интересный, вроде, как кнопки на гармошке нажимаешь: ку-ку, ку-ку. Кнопочки басовые, вроде как из груди голос образуется. Красиво поёт, дух перехватывает, а иногда вдруг захохочет, будто женщина какая.

- Она и есть как гулящая баба. Всю весну поёт, таскается, а яйца сама не высидит, - прошептал участковый. - Много таких кукушек по стране и подкидышей много. Таким бабам-кукушкам материнские чувства неизвестны.

Мужики, слушавшие звуки нарождающегося дня, зябко ёжились и, позёвывая, опухшими от зелья и недосыпания глазами поглядывали по сторонам.

...Медведица, жившая в этом лесу со своим шаловливым малышом, шурша прошлогодней листвой, в поисках еды брела по своим неприметным тропам, сшибая холодную росу. Голодная мать подошла к упавшему дереву и сильными лапами сдвинула многопудовый ствол. Под ним, в истлевших и подёрнутых плесенью листьях, она нашла несколько червяков. Рядом оказался большой конусообразный муравейник. Медведица знала в нём толк: яйца муравьёв — личинки, сочно похрустывают на зубах. Она увлеклась сладкой едой, а медвежонок весёлым, беззаботным колом покотился за куст, за пенёчек, а вскоре его уже и след простыл...

Зимин решил провести рекогносцировку и распорядился:

- Ты, Иван, оставайся на месте, а мы с Михаилом обойдём округу, долго не задержимся.

- Не бойсь, Вань! - махнул рукой Михаил.

Два сыщика с поднятыми воротниками и нахлобученными кепи вышли на дорогу. Постояли, покурили, слушая доносившиеся с реки пароходные гудки. Накурившись, они сошли с дороги в лес. Здесь, среди пней, что-то шевелилось.

Михаил, шедший впереди, указав рукой, шепнул:

- Глянь, там заяц, что ли?

- Да нет... это же медвежонок!

- Что он тут делает? - заволновался Михаил.

- Это ты у него сам спроси.

- Хорошо, если рядом медведицы нет, а то без проблем не обойтись. Медведица не кукушка, а зверь, любящий своё чадо, - заметил Михаил.

- Не волнуйся, он, похоже, тут один.

- Это хорошо, хорошо... ну, тогда?..

- Что тогда? - спросил участковый.

- Знаешь, о чём я подумал?.. Ванька там есть хочет, о шашлыке мечтает...

- Неплохая идея, - улыбнулся Зимин. - Кушать всегда хочется.

- А ты местного егеря не боишься, за дичинку-то?..

- Да в трусах я его видел. Я стою на страже интересов граждан, какое мне дело до лесной твари. В конце концов всё лесное создано во благо удовольствия человеку.

Зимин вытащил из кобуры «макара», снял с предохранителя, приготовился.

Со стороны медвежонок казался большой пушистой шапкой. Его мокрая от росы шерсть, освещённая солнцем, блестела гранями драгоценных камней. Сердце и ум малыша, ещё не познавшие жестокости этого мира, радовались доброму утру, голосам певчих птиц, серебристой росе. Он даже был рад, что смог удрать из-под опеки матери хоть на некоторое время. Но прогремел выстрел. Медвежонок, перевернувшись на спину, судорожно задёргал лапками. Пронзительная боль давила глаза из орбит. Кровь из него вылилась, как из простреленного сосуда, он затих.

- Ну, Зимин... Ну, ты снайпер! - восхищался дружинник Миша.

- Стреляю — как учили, - скромно отвечал участковый Зимин...

Лесник Санька Зернов пришёл на лесистый утёс, его тянет к речному простору, как белокрылую чайку. Придёт сюда, прижмётся щекой к шершавому стволу дуба и мечтает. А как же ему не мечтать в такие годы — жизнь только началась. Счастлив он возле реки Волги, в сердце пришла любовь, и работа почётная, ведь он продолжатель династии лесоводов, и фамилия-то благодатная — от зерна. В такие минуты его душа наполняется необъяснимой радостью. Санька, глядя на стада белогривых барашков в синей дали, либо песню поёт, либо вспоминает стихи о великой реке:

Волга снова распахнёт простор,
Снова рыбаки расставят сети.
Одиночный лодочный мотор
Тишину нарушит на рассвете.

«Надо будет сюда Наташку привести, - подумал Санька. - Интересно, что она скажет». Глянув на часы, он торопливо встал, поднял с земли свой инструмент и пошёл работать. Он шёл по рощам и борам, как по комнатам родного дома, и знал, что и где растёт. Иногда лесник слышит странные, скрипучие звуки — это стонет умирающее дерево, как больной человек, и из глаз лесника выкатываются слёзы сострадания. Но жизнь продолжается, особенно в лесах ещё юных, изумрудно-зелёных.

Санька идёт по извилистой дорожке не туристом, не каким-нибудь

пешим гулякой, а хозяином и, оглядывая свои владения, читает стихи:

Золотые нити
Солнечных лучей
Льются через сито
Листьев и ветвей.

Вдруг Санька снова вспомнил свою Наташку: «Вот бы её сюда, что бы она сказала, глядя на всё это?»

Ах, кареглазая Наташка, чем она приворожила чистого, поэтически настроенного парня? Конечно же, в этом виноваты весна, молодость и любовь. Санька сказал себе: «Обязательно приведу сюда Наташу — покажу ей свой лес». И, прибавив ходу, он продолжал:

Ладно, кареглазая,
Ты уж не сердись,
До другого раза
Потерпи, дождись...

Уже сутки медведица не ест, ею овладели материнское беспокойство и отчаяние. В поисках медвежонка она обошла всю округу, обшарила все лесные закуточки. Наконец она наткнулась на следы людей и крови. Медведица затяжно обнюхала место и поняла — кровь её сына. Если бы посмотреть на неё со стороны, лежавшую на земле, прикрывшую широкими лапами глаза, ревущую голосом несчастной «женщины», провожавшей своё дитя в могилу, стало бы понятно, как велико горе матери-медведицы, жившей с людьми в добрососедстве. В отчаянии и печали медведица поднялась на дыбы. Короткие ноги её едва держали огромную массу силы и горя. Она утробно рывкнула и, повинуясь инстинкту, пошла по следам, но на дороге следы потерялись.

Санька Зернов далёк от жестокости — не его дело стрелять. Он, не разгибая спины, рубит засохшие стволы, сучья и складывает в кучи — будет крыша для укрытия тетеревам, рябчикам.

Удары топора привлекли внимание зверя. Медведица, чтобы не встретиться глазами с человеком, вышла сзади и, вложив в прыжок всю свою ненависть, бросилась на человека. Она подмывала жертву под себя, кусала страшными клыками. Когтистыми лапами с буграми мышц штангиста, рвала одежду, тело. Некоторое время спустя медведица оставила врага и, переводя дыхание, легла. Но, глядя на то, как из сосков её материнской груди на холодную землю бесплодно сочится молоко, вновь подошла к окровавленной жертве...

4

Возвращаясь из леса и проходя мимо детского сада, Михаил решил зайти к родственнице — Наташе. За высокой изгородью детского городка слышались звонкие ребячьи голоса.

Миновав калитку, он оказался в сказке — именно в таком стиле построен весь комплекс игровой детской площадки с чистотой асфальтовых дорожек и ухоженных цветочных клумб.

Детишки под неусыпным наблюдением воспитательницы Наташи играли и смеялись.

Михаил увидел родственницу в окружении детворы и, махнув рукой, крикнул:

- Привет, Наташа!

- Привет! - ответила она и, обращаясь к своим подопечным, попросила их поприветствовать дядю.

- Здрав-ствуй-те, дя-дя! - дружно, хором поздоровались дети.

Польщённый Михаил пошарил по карманам куртки, но кроме единственной ириски и горсти семечек у него ничего не нашлось.

- А ну, детишки, налетай! - скомандовал Михаил, но, к его удивлению, ни один из них не шевельнулся.

- Вообще-то, у нас это запрещено, - строго сказала воспитательница.

- Ната-ах? - простонал Михаил. - Я же от всего сердца.

- Ну, ладно уж!

Ребятня с криками «ура!» бросилась на пришельца.

- А это чей карапуз? - поинтересовался Михаил.

- Это сыночек толстого Ивана.

- Похож! - воскликнул Михаил. - Стало быть, ты Иван Иванович... Глянь, как вырос — слона-то и я не заметил, - пошутил дядя Миша.

Наташа, в облегающем фигуру халате, склонив голову, мило улыбалась, но, заметив на изгороди мальчишку, окликнула его.

- Юрик, Юрик, а ну-ка слазь!.. Хочешь в лес убежать?

А дядя Миша тут же экспромтом произнёс:

Не ходите, дети, в лес,
Медведи там кусаются.
Самый маленький зверёнок
За ногу хватается!

А затем, обращаясь к шаловливому Юрке, добавил:

Эй, мальчишка-озорнишка,
Няню всегда слушайся.
Не ходи ты в лес один,
Съешь-ка лучше апельсин!

Детвора засмеялась и весело заиграла в свои игры. Присев на скамейку, Михаил поинтересовался:

- Ну, как дела, сестрица?
- Хорошо.
- Говорят, скоро уедешь в столицу?
- Да, буду поступать в театральный.
- Хорошее дело. Артисткой, значит, будешь?
- Буду! - твёрдо ответила девушка.
- Поди и не приедешь сюда.

- Ну, почему же? Я люблю эти края. Слушай, на днях состоится прощальный спектакль, будут на радио записывать, приходите с женой. Кстати, как вы живёте?

- Да живём, вот картошку посадили. Правда, дрова колоть времени нет, участковому помогаем, кражи раскручиваем. Да вот, в лесу человека нашёл. Зверь его заломал.

- Что ты говоришь? - изменилась Наташа в лице.

- Честное слово. Вот как получилось-то. Толстый Иван свой «аршин» потерял... ну, стакан для питья. Вот говорит мне: «Мишка, ты скорый на ногу, сбегай в лес за посудиной — реликвия всё же...» Ну, я и пошёл, и набрёл на кучу хвороста, а из-под неё нога человека торчит... - при этом, до боли стиснув губы, Михаил потряс головой, - знаешь, а другая почти оторвана. Ну, вытащил я его — он весь в крови и без сознания. На машине попутной привезли к хирургу. Жаль того парня — весь искусан, когтями изодран. Одним словом — инвалид. Говорят, он лесником работал. Знаешь, у нас с ним оказалась кровь одной группы. Я поделился с ним, теперь мы с ним как братья. А хирург наш молодец, залатал парня. Жить будет.

- А кто он, парень? - болезненно насторожилась Наташа.

- Санька Зернов...

Через штору окна пробился яркий луч и, как тёплая, ласковая ладонь любящего человека, коснувшись лица лесника, замер.

Санька чуть прикрытыми глазами медленно осмотрел палату. Он не помнил, как сюда попал, но о причине пребывания здесь уже знал. Парень смотрел на открывавшийся ему мир глазами человека напрасно обиженного, лишённого жизни, данной на земле каждому живому существу. О своём несчастье он догадался, когда пытался шевельнуть левой ногой, да и всё его тело с ног до головы замотано бинтами. Дверь палаты часто отворялась, и над больным склонялись люди в белом, до сознания Саньки доносился полусёпот.

Проходили мучительные дни — молодость медленно побеждала, желтизну на лице постепенно сменял румянец, хотя на глазах ещё слёзы. К нему приходила бабушка и, глядя на его душевные и физические страдания, успокаивала: «Ты, Сашок, не убивайся! Радуйся, что жив

остался, ведь и так жить надо. Не один ты на земле такой. Это убиенные войной уж бела света не увидят, домой не вернуться. А такие, как ты, на ноги встают и даже работают. Вот, вспомни-ка, кино смотрели с тобой про военного лётчика, он без обеих ног — на протезах воевал, даже плясать выучился... У тебя всё впереди — и любовь придёт, и наследники будут».

Санька слушал молча, но слова бабушки действовали на него умиротворяюще. А однажды, проснувшись в полночь, он увидел через окно будто бы огни далёкого города — точки звёзд, и впервые за всё это время ощутил душевный порыв буйной весны, так случалось с ним на свиданиях с Наташей. Ему вдруг захотелось выразить свои чувства словами поэта.

Молодая, красивая, чистая,
Столько лет о такой мечтаю,
Я полжизни тебя разыскивал
И нашёл, а что делать — не знаю.

«А что делать — не знаю, - задумчиво прошептал Санька, - так известно, что делать — уйти с дороги, такой закон — третий должен уйти». Вдруг Санька вспомнил свидание с Наташей, разговоры о счастье. Тогда она сказала, что любовь — она вечна, ей не страшны преграды. А на самом деле — артистка на инвалида и не глянет. Её слова — слова практичной девушки. «Всё, прощай, Наташка, прощай моя первая любовь!»

В эту ночь он так и не заснул, а утром ему добавила боли медсестра. Войдя в палату с лекарствами и, деловито распахнув окно, она включила радиоприёмник. Лесник Зернов услышал знакомый голос диктора радио посёлка Приволжского: «Доброе утро, товарищи радиослушатели! Мы предлагаем вам репортаж с пристани Волги. Как вы уже знаете, вчера в нашем доме культуры состоялся прощальный вечер с художественным руководителем Эдуардом Забавиным. В большом концерте прозвучали песни вокального ансамбля, музыкальные произведения в исполнении духового оркестра и фрагменты из спектаклей. В доме культуры был аншлаг. Зрителям надолго запомнится этот праздник искусства. Но жизнь не стоит на месте. Сегодня наш Эдуард с группой талантливых абитуриентов из нашего села уезжает в столицу. В связи с этим событием художественный руководитель дал интервью».

Санька, прикованный к постели, догадался: в числе абитуриентов и его Наташка.

После некоторой паузы из радиоприёмника послышался голос с хрипотцой. Больной сразу же узнал худрука, человека манерно не похожего на других, пахнувшего духами.

«Дорогие селяне, - сказал он, я уезжаю, но не навсегда. Кто-то из классиков сказал, что искусство требует жертв. Я обязан помочь талан-

там продвинуться к вершинам театрального мастерства. А таланты в вашем селе есть — это прежде всего воспитательница Наташа и другие ребята. Пройдут годы учёбы, и вы увидите их в новом качестве. Через несколько минут быстроходный лайнер по волнам умчит нас в столицу, а мы, находясь от вас далеко, будем вспоминать жизнь в глубинке России — жизнь нелёгкую. И мы ещё встретимся, но не в доме, а во Дворце культуры. До свидания!»

Если бы Санька мог доползти до берега, до собравшихся там людей, он бы, не выдавая себя, прячась, скромно бы, издали попрощался со своей любовью...

С Волги доносился плеск вольной воды и гортанные крики голодных чаек. Громко играл духовой оркестр. Это поселковые трубачи ублажают слух своего руководителя.

Санька представил себе стройную Наташу в юбчонке и с чемоданом, шедшую по палубе рядом со счастливым Эдуардом, собравшиеся родственники и друзья желают им счастливого пути.

Зернов потерял волю и впервые позавидовал тем, кто умер во сне или не пришёл в сознание.

Вот лайнер зычно прогудел, оркестр заиграл «Прощание славянки». А одинокий парень, перевязанный бинтами, сомкнул тяжёлые веки. Странно — ему почудилось, что ли? Но по палате, как в каменной древней пещере к нему приближались тяжёлые шаги рыцаря в железных латах и раскатистым эхом пронесли слова: «Но ты не знаешь женского сердца-сердца-сердца!»

Раздался стук в дверь. Лесник, вздрогнув и открыв глаза, увидел Наташу. Что это — виденье?.. Санька до боли укусил себе губу, но «виденье» не исчезло — девушка подошла к постели больного и, крепко сжав руку друга, присела на корточки.

- Как же ты могла опоздать на пароход? - широко раскрыв глаза, прошептал Санька.

- Санечка... я не поехала в город... мне и тут хорошо, а учиться ведь никогда не поздно. Было бы желание...

А за посёлком Приволжским берёзы и осины оделись в нежную зелень. Изумрудной травой покрылась земля. В садах щебечут счастливые птички пары. И только кнопочками одной гармонии тоскует, жалуясь на судьбу, рябая кукушка.

АНАТОЛИЙ СКАЛА

ЛАНДШАФТ С РУССКОЙ ПЕЧЬЮ

Рассказ

Старуха проснулась и заговорила с печи домовому, сидящему на полу.

— А и сон мне приснился, Тимонюшка! Прямо даже не знаю к чему... Будто сплю я на лавке внизу, возле окошек. И вроде бы никого и в деревне нет. А слышу на улице шум да говор, как будто бы молодёжь безобразничает!

Как бы, думаю, не натворили чего... Встала с лавочки, выхожу на тот шум. А зима, снег кругом. И из нашего березняка голоса по морозу доносятся — туда, видимо, молодёжь подалась. Я — за ними. Гляжу: ходят между берёз бабы с девками — землянику рвут. По морозу-то!

Я ругать. Вы зачем, говорю, на моей территории землянику щипаете? Да нет, мы, говорят, только с краешку... А уж где же тут с краешку? И в середочке, меж берёз, земляника повыбрана!

Ну, с расстройства вернулась я в дом, сколь сумела собрать — ягод эдак с пяток, может, больше, в подоле тащу. А хорошие ягодки, крупные... И такие уж яркие, что хоть вместо лампочек электрических ввертывай! Вот я их и ввернула в патроны. Пускай, думаю, светят, коль у нас электричество отключено.

И что интересно, Тимонюшка, никого к тому времени в доме не было — да и быть не должно, — а тут вдруг мужичонко какой-то стоит среди избы и припрашивает: «Дай и мне пару лампочек...»

Отвечаю: сдурел ты, иль что? Аль не видишь: самой не хватает? В патрон возле печки вкрутить вовсе нечего.

И печей тоже четверо: в каждой стенке по печке. И дверцы большие, чугунные — человеку войти можно. Вот, думаю: «Как топить-то такие огромные печи придётся?..» — Старуха запнулась, как будто припомнив про что-то, продолжила:

— И пол в горнице земляной, и поленья у каждой печи горкой сложены. Ну, я их и давай в эти печи кидать. И что чудно: насквозь

Анатолий Скала (Смышляев Анатолий Андреевич) родился в 1951 году в Кировской области. Публиковался в российских литературных сборниках, на страницах республиканских изданий. Живёт в Йошкар-Оле.

через печи видать, что на улице делается — дверцы есть в тех печах, стенки тоже есть, и дым вверх в дымоходы идёт — а вот задних стен нет! Горят в печках дрова, а за ними видать: речка плещется в бережках, вдалеке стоит лес, деревенька раскинулась по холмам, в небе — солнышко. Лето красное в тех печах за избой, а внутри — где сама я стою, — уж не знаю и что. То ль зима, то ль весна вместе с осенью...

— Ну, и что?.. — проворчал домовый.

— Всё, — подумав, сказала старуха.

Тимоня на эту старухину болтовню заявил:

— Ну, и как мы, по-твоему, сквозь огонь выбираться отсюда будем в таком твоём сне, если в нём ни дверей, ни окошек нет?.. Сгорим к лешему!

— Знамо дело, сгорим, — согласилась старуха. — Да только, Тимонюшка, может быть, и печей-то тех тоже нет. Посмотреть сперва надо бы.

— Ну, так лезь да смотри! Свет включи заодно! Или, может, и свету нет?

— Свет как будто бы есть, — отвечала старуха, пощёлкав выключателем.

Свет, и вправду, хоть тусклый, но был. Только лампочек не пяток уже было, а только одна.

— И зачем только я тебя в дом пустил, — недовольно сказал домовый. — Спишь и спишь, как валежина, сны не смотришь, а если и смотришь, так всё у тебя в них шиворот да навыворот!

— Так уж старая я, вот и сны у меня тоже старые, — прокряхтела в своё оправдание старуха. — Всю жизнь возле печки... Варила да парила. Что приснится-то ещё может? Чего в огне выглядишь, то потом и пригрезится. Вот ещё коня белого часто вижу теперь — резвый конь такой: грива чёрная, и хвост — тоже, а сам белей сахара.

— Коня только нам ещё и не хватало, — сказал домовый, — а то всё уже перебивало: и куры, и овцы — коня только не было!

— Коня не было, — согласилась старуха, — а и было что — всё куда-то опять подевалось: неяткие сны. Я вот думаю: тот мужик, что про лампочки спрашивал, — это, часом, не ты во сне был?

— Я... И что? — огрызнулся Тимоня.

— Да нет, просто так, — разочарованно произнесла старуха. — Тот на белом коне всё равно не такой вовсе был.

— Да ты вовсе, как я посмотрю, с ума спятила! — закричал домовый. — Ругать меня вздумала! Позабыла, как здесь оказалась?

Старуха ответила:

— Как же так: позабыла? Нет. Помнится, шла куда-то, или заплуталась... А тут вижу: дом. Вот зашла. И заснула.

— Заснула уж, — проворчал домовый. — Нет бы кто молодой зашёл, у кого сны хорошие: уж давно бы и дом был как дом, как положено... С дверьми, с окнами. А не то, что сейчас!

— Заблудилась маленечко, — повторила старуха, как будто бы с сожалением, — а не то бы и я не зашла. Кто сюда, в глухомань эту сам-то зайдёт? В нежилую деревню-то?

Домовой замолчал: то ли думал, кто мог бы зайти, то ли всё ещё сожалел, что впустил в дом приبلудную старуху.

Старуха тем временем слезла с печки и, словно слепая, на ощупь прошла по всем стенам в избе. Убедившись в отсутствии в них железных печей и дверей с окнами, прислонилась к огромной русской печи. Задумалась.

Домовой был хоть вздорный, но всё-таки безобидный. Одно плохо: сны, что он требовал от неё, как-то не получались. Единственное, что приснилось ей хорошо и потом никуда не исчезло, была эта старинная печь. Да и неудивительно: уж её-то старуха себе представляла до самой малейшей царапинки и неровности на любом из кирпичиков. Вся жизнь около этой печки прошла.

А те печи с железными дверцами вообще неизвестно откуда к ней в сон забрались. Из-за этого и сохраниться, видать, не смогли — не её это были — те печи железные и сны. Да и сам домовый, неизвестно ещё, каким образом оказался здесь! Ишь, притулился на скамеечке — сам с горшок, а ругательный! Интересно, откуда он сам-то здесь взялся... хоть сам-то умеет ли сны эти смотреть?

— Ты, Тимонюшка, по ночам в своих снах чего видишь? — спросила она.

— Много что. Про всё и не расскажешь! — ответил рассерженно домовый.

— А чего же из этих снов ничего в доме не появляется? — с любопытством спросила старуха.

— Сто раз объяснять тебе? Нет у нас, домовых, как у вас — у людей — этой вашей способности превращать сны в различные скорородки да печки с железными дверцами, — проворчал домовый.

— А ты знаешь, Тимонюшка, я ведь вовсе забыла: ведь дом-то в сегодняшнем сне двухэтажный был!.. — заявила старуха.

— Как так — двухэтажный? — озлился Тимоня.

— А так... Пол-то, видишь, у нас земляной? — продолжала старуха.

— Тем более, — проворчал домовый. — Если пол земляной, то какой уж второй этаж?

— А такой вот и есть. Чердак это у нас... Потолок. Потому и земля под ногами насыпана. А жилой — чистый дом — там, под нами. Да вон в том углу западня должна быть, а под ней — книзу лестница.

— А что ж раньше молчала-то?

— Так забыла, Тимонюшка!

— Забыла... И что же теперь мы с тобой будем делать? — спросил домовой.

— А что делать? Спускаться, наверное, будем с этого чердака! — чуть подумав, сказала старуха.

— Спускаться! — опять передразнил её домовой. — Ну, а если и там ничего тоже нет, кроме тьмы? Как в трубе у печи? Только в саже тогда извозился, а вылез на улицу — темнота!.. В западню сейчас лезь!.. А там, может, простое подполье — опять темнота!

— Не должно быть подполье или темнота, — подумав, сказала старуха.

— Не может быть... не должно, — рассерженно повторил домовой. — Ну, давай, открывай эту самую западню — мне не смочь.

— Ясно дело, не смочь! Что бы ты без меня тут и делал! — сказала старуха. Она прошла в угол, нащупала дверцу в полу, потянула её за кольцо, специально привинченное, чтобы было за что открывать, приоткрыла. Тимоня с опаской взглянул вниз, в отверстие, проворчал:

— Темнота... как я и говорил.

— А ты не говори, полезай! Видишь — лестница вниз пристроена совсем новая? И перильца в ней новые! — приободрила домового старуха. Тимоня осмелился, встал на верхнюю ступень лестницы, тут же предупредил:

— Ты, смотри, держи дверцу-то!

— Да держу! Там ступеньки-то далеко друг от друга — на взрослого, человека рассчитаны — так ты не торопись... Говорю тебе: не торопись!!! Ну, вот! Так я и знала!.. — вздохнула старуха, когда домовой с шумом сверзился вниз по лестнице.

— А грохоту-то от тебя, Тимофей! — прокричала она ему вслед. — Всех, наверное, там с ума посводил?.. Если кто внизу есть... А и если и нет, так сама тут с тобой сойдёшь!.. — уже вовсе бессмысленно повторила она. Словно с падением домового еще старше или же глупей стала...

Она подождала, походила вокруг печи, снова ощупью отыскала кольцо, но теперь оно было ввинчено в пол в середине избы, и без признаков западни.

— Тоже, что ли, приснился мне и домовой?.. — удивлённо спросила старуха саму себя. — Тоже, видимо, сон? Как и всадник тот странный на белом коне. — И надолго задумалась. Вроде и подремала недолго.

— Всё спишь и спишь? — услышала сквозь сон.

— Да нет, вовсе не сплю, — отвечала старуха, открыв глаза.

В доме было темно. Сквозь звенящую тишину раздавались то ржание лошадей, то далёкие звуки гармошки.

Вновь пошла к кольцу. В этот раз дверь в подполье была уж на месте.

И лестница тоже на месте. И свет вроде в подполье уже появился...

«Тимоня свет, что ли, включил», — рассудила старуха. Только тихо уж очень. То грохот был, а то вдруг тишина! Только печи слышать как шумят.

Уцепилась за лестницу, стала вниз опускаться взад-напереды. Так и есть: и здесь печи стоят. Только здесь без дверей. Огонь мечется... а дверей нет... не как вверху. Рядом речка струится, шумит в ушах: «Тисс – тисс – тисс!»

Не слыхала такой реки! Ручеёк — не река! Всё равно не слыхала до этого. Хотя, кто его знает, за столько-то лет и забыть могла... А подполье совсем не подполье, а местность просторная, с травкой, с зеленью...

Три колодчика на лугу стоят, вода плещется через край, наполняет ручей.

«Вот и выбралась из дому!» — рассудила старуха.

Пошла. Луговинку с колодчиками обойти пришлось -- земля мягкая под ногами колышется -- побоялась увязнуть. В строение упёрлась.

Свинарник какой-то. Без крыши. Дверей тоже нет. С петель сняты. Проёмы насквозь светятся — а за ними опять тот лужок. И видать: бабы с девками на лугу за проёмами хороводятся!

Сквозь свинарник впрямую хотела пройти. От земли жар идёт. И чем дальше, тем больше жар. Словно не по земле, а по угольям, из печи только вытащенным, босиком идёшь. И лицо жаром прямо палит. Только не от печей жар идёт — от каких-то невиданных сооружений. То ль котлы, то ль какие-то самовары внутри стоят.

Преогромные самоварищи. И у каждого лежат звери. Греются!

«Ох! — очнулась старуха, — Какое же греются? Вон, у ближнего, баран чёрный лежит. Дым идёт от барана, мясом жареным и палёным несёт от баранища. Обгорелый — а раньше-то, может, и белым был. И козлища лежат рядом с ним — уже вовсе обуглились!»

«И куда ты, Тимоня, меня затащил?.. Да и ладно ли уж, и не в Ад ли?..» — струхнула старуха. Вкруг строения пошла.

Ручеёк уж в реку превратился. Поближе к строению подвинулся. Берег сразу обрывистый, в родничках сверху до низу. Словно слёзы, вода брызжет, сочится из тех родничков. Осыпается, оползает обрывистый берег.

Еле-еле успела — и сполз оползень вместе с жутким строением. Провал чёрный, бездонный на месте его сзади образовался. ... И колодчиков с домом не стало. Как будто и не было.

А как не было, если только что из дому выбралась?.. И жила в дому столько времени... Или вовсе уже не жила?..

Присела старуха на камушек. «Пореветь, что ли, сколь-нибудь да самой головой в эту тьму иль в реку!»

Пошла по бережку, спуск искать к реке. «Поначалу умоюсь — потом уж и головой!..» — рассудила.

Луговина широкая перед ней расстилается в изумрудной траве, справа — море шумит. Или это река так расширилась? Одно целое стало поле зелёное и вода. Только жёлтый обрыв, да полоска прибрежная разделяют полосы — траву с водой!

Собака огромная по песку внизу бежит. Орёт, гавкает! До того велика — что того и гляди от воды кверху выскочит! Лает, страх на округу наводит.

Попятилась от обрыва старуха — самой, что ли, на зубья лезть к чуду?

Вновь пошла. «Уж пора бы какой-нибудь деревеньке поблизости объявиться! С такой-то травой неужель луговина пустая? Не может такого быть».

Лишь подумала — впереди овец стадо виднеется. И деревня стоит на пригорочке.

«Вышла всё же к жилью!» — не нарадуется деревеньке старуха.

Своё думает: «А негоже чумазой в селенье идти. Где б умыться? А где ты умоешься? К реке чуду здесь не пускает!»

Было б утро — росой бы умылась. Девчонкой была, так росой только и умывалась! Пока мчишься в ночи к той черемухе, под которой милёночек дожидается, десять раз лицо жаркое сполоснёшь росой с трав. Или в ветки ласкового ивняка лицом сунешься — если ночь после дождика.

А когда после ночки домой возвратишься, так и Зорька ещё языком своим лицо вылизет. С молоком ли, телёнком ли путала?..

Да давно уже вечер настал! Или ночь — теперь одинаково».

Заревела старуха, слезами умылась — давно уж слезами привыкла она умываться, а не росой! Только думала, что и слёз больше не будет, как ночек тех. Ах опять появились!

И Зорька откуда-то появилась!

— Ох ты, умница! Ох, кормилица!.. Не забыла хозяйшку! — полились снова слёзы из глаз у старухи!

«Уж что-то я больно слезливая стала?» — подумала.

Встала вровень с глазами коровьими... Смотрится. Видно всё в тех коровьих глазах, словно в зеркале.

Смотрит и удивляется: «Неужели на мне это платье нарядное?.. Или, может, не я стою там, в этом поле голубеньком?..

А что там за спиной ещё что-то виднеется... Лошадь, что ли, какая-то в поле играет?..»

Обзабылась и ткнула в коровий глаз пальчиком — то ль поправить хотела в том зеркальце косу тяжёлую, то ль пятнышко дальнее разглядеть, то ль что-то ещё столь же умное сотворить!..

Как крутнёт её Зорька рогами! Как хвост задерёт метлой в небо! Ну, теперь всё! Спасайся кто может... Она перед дракой всегда сперва небо хвостом расчертит, а потом на врага уж набросится!... Будь хоть кто перед ней — хоть ты волк, хоть ты лось! Хоть пастух...

Подхватила старуха, — да по полю к деревенским домам! И откуда лишь прыть в ней взялась!.. Бежит, думает:

«Вовсе Зорька с ума сошла. Ведь не зайца, не курицу, а хозяйку по полю гоняет! И что ей на ум взбрело?»

А того уж и не замечает, сколь быстро да ловко по полю бежит! Только ветер свистит в волосах! А в каких волосах? Уж давно клочок жалкий торчит вместо кос!

Долетела так, словно на крыльях, до первых домов. Зорька не отстаёт — вот-вот вздёрнет, дурная, хозяйку на рога!

«Ну, стой! Вот возьму батожину да выхожу вдоль спины — будешь знать, как хозяйку гонять!»

Заскочила в хлев. И бурёнка за ней. Уж рога приготовила, чтоб ловчей поддеть. И бежать дальше некуда!

Ухватила руками за брёвна в стене — вскарабкалась на единственный перевод, на котором у них потолок был настелен да сено пахучее.

Ноги к самому подбородку подобрала.

А коровка то ль утихомирилась; то ль забыла, зачем принеслась сюда; ходит вдоль стен, взмурякивает и хозяйку хвостом своим чуть ли не задевает... Та думает:

«И сколь буду я здесь, словно белка, сидеть?.. Хоть бы пить захотела бурёнка, да вышла на улицу. Прогулялась бы перед сном!..»

И кричать толку нет... Стоит дом на отшибе.

А в прорехи, сквозь доски прогнившие, ветки лезут под крышу. Весна кругом! Цветёт, пахнет черёмуха! И на ветке — рукой достать — поёт, свищет, на все лады переливается скворушка... Чёрно-пёстренький... Да так ласково... Уж не тот ли, что рядом с окном её раньше жил, по утрам ей, молоденькой, спать не давал?..

А сирени вокруг! Белый вишенник затопил всё кругом!.. Как же это не видела, когда по полю от коровы драла?.. Не до этого, видно, было!»

Или видела да внимания не обратила. Что светло на дворе, хоть на небе ни солнышка и ни тучек не видно...

А видно лишь, что сквозь вишенник скачет кто-то! Вот близко уже! Скачет кто-то сквозь белое, скачет кто-то на белом коне! В её сторону, к дому этому! Может, ищет корову сбежавшую, может, что-то ещё...

Захолонуло вдруг сердчишко от страха: «Увидит меня тут не прибранную, в юбке этой коротенькой!..» В жар всю бросило!

А уж всадник на землю вскочил, в дверь заходит, и сразу же к переводу...

Ну, вот и всё!..

Встал, вверх голову поднял, смеётся:

— Ты что это так высоко забралась? Слазь быстрее! — и руки вверх поднял — ловить собирается... А лицо — как тогда под черёмухами возле тополя.

Отпустилась, свалилась в объятия, лицо спрятала на груди.

— Тебя где столько времени не было? Меня Зорька чуть вовсе тут не забодала!

— Искал тебя...

— Ну... Нашёл?

— Наконец-то нашёл...

— А надолго?

— Теперь навсегда!

Засмеялась сквозь слёзы и волосы не заплетённые:

— Наконец-то приснился и мне этот яркий мой сон!

НИКОЛАЙ ПЕРЕСТОРОНИН

АПОСТОЛЫ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Край великих холмов и оврагов
Сохранял самобытность как мог.
Что сказать? Мы не звали варягов
А они уже делят пирог.
Изобильно накрыты поляны
И украшены тоже зело,
Много званых да мало избранных
А и нас невелико число.
Медных труб возвышаются звуки,
Низко падать да травушку мять...
Истончились мечи и кольчуги,
Но за правду пора постоять
А пока серебро серебрится,
Ярко яркие лампы горят.
Друг пророчит: «Мы будем гордиться,
Что не брали варяжских наград».
Будет снег терпеливей бумаги,
Но за слово цепляюсь и я:
«Милый друг, на фига нам варяги,
Мы и сами побиша своя...
Мы и сами с мечами ходили,
Неужели опять и опять
Мы с тобой всех врагов победили,
Чтоб друг с другом теперь воевать?»
Милый друг, мы так грустно смеёмся,
Или оптимистично молчим,
Что как волны у берега бьёмся
Называя тот берег родным.
Русь Святая! В едином просторе
Собери православный народ!
А варягов Воряжское море
Унесёт, унесёт, унесёт.
Милый друг...

Пересторонин Николай Васильевич. Родился в Кирове в 1951 году. Автор 17 книг стихов и прозы. Член Союза писателей России. Лауреат премии Правительства России, лауреат всероссийской православной литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского, всероссийской литературной премии имени Н.А. Заболоцкого. Живёт в Кирове.

Уехал друг в Разбойный Бор
До октября.
На возвращенье он не скор
Да жду не зря.
Не по стаканам водку лить,
Стихи вещать.
Нам есть о чём поговорить
И помолчать.
Взойдёт над берегом звезда,
А, может, нет.
Но не доступен, как всегда,
Абонент,
Где распустился девясил
И Иван-чай.
Но почему он говорил:
«Прости-прощай!»?
Иду один, смягчая шаг,
Смирив тоску,
А Раздерихинский овраг
Давно в снегу.

МИНИНО

Памяти А. Барсукова

Не могло бы такое присниться
В крайнем доме, в последней избе:
Пролетят перелётные птицы
И не сядут на этой земле.
Смысл названий ещё не забылся,
Посреди потрясений и смут
Новый Минин ещё не родился
И Пожарские тут не живут.
И никто не выходит из дому
Лишь плывёт в небе облачный плот.
Церковь белая смотрит в Молому
Отражения не узнаёт.
Ещё доброе жителям снится,
Только тянет прохладой с полей
И летят перелётные птицы –
Не садятся на этой земле.

В краю, где подзолы и глина,
В дому, где ни так и ни сян,
Достанет гармошку Галина
И грянет: «Наш гордый «Варяг!»
И песня безмужняя льётся,
Как вдовая доля ведёт.
Она никому не сдаётся,
И в плен никого не берёт.
Она проросла в поколениях,
Её не забьют сорняки...
Есть женщины в русских селениях,
Да мало живут мужики.

Как будто книгу памяти листая,
Июльский ветер всколыхнёт на миг.
Стоит в полях пшеница золотая,
Звучит в душе серебряный родник.
Здесь жизнь цвела красивая, большая
На зависть пролетариям всех стран,
Высокий храм над миров возвышая,
Усердием пророков и крестьян.
Опять туда. Откладывать не стоит.
Легко легли дорожные слова.
Но до чего же сердце беспокоит
Сердечная, как таволга, трава.
Тесным-тесно разросшимся деревьям,
Но улыбнётся счастье на веку
Сбегая вниз по земляным ступеням
К чистейшему, как память, роднику.
Опять туда, где родина святая.
Июльский ветер пусть вернёт на миг:
Стоит стеной пшеница золотая,
Звенит струной серебряный родник.

Улыбнись, Душа моя живая,
Даже если тянет холодком.
Плечи твои смело укрывая
Иорданском шёлковым платком,
Я ещё способен быть нежнее
Светится в ночи лицо твоё.
Эта нежность мне теперь нужнее,
Чем тебе, заждавшейся её.

ВОЛОГОДСКИЙ МОТИВ

Покажется: здесь и душа отдыхает,
Хранима Всевышним на все времена,
В полуночной Вологде ветер стихает
И белая церковь видна из окна.
Но запертый воздух холодного крова
Рванётся наружу, знакомый до слёз,
И каменный шарфик на шее Рубцова
Затянет потуже крещенский мороз.

ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ

Судьба — высокая гора,
Земная слава,
Благословенная пора
Петра и Павла.
Здесь родословную вели,
Светлы по сути,
Апостолы родной земли,
Простые люди.
Как удержались на краю,
Не пали больно.
Река. Смородина. Июль.
Храм. Колокольня...
И женщина идёт-плывёт,
Как будто пава,
Поставит вёдра и зовёт:
«Петруша, Павел...»

Это родины добрая сила:
Облака, купола, образа.
Слишком громко душа говорила
И ответили ей небеса.
Не забудешь минуты святые,
Покаянно склоняя главу,
Будто искры летят золотые,
Осыпаясь листвой на траву.
Небосвод, словно с проседью просинь,
Но, спрямляя изгибы тропы,
Разгорается русская осень,
Золотая подсветка судьбы.
И останется в памяти чистой
На развилке российских дорог,
Как летит угасающей искрой
В листопад опоздавший листок.

Как лекарство от боли сердечной
Растворится в тягучей крови,
Всё пройдёт и проходит, конечно,
Невозможно уже без любви.
Не насущные думы о хлебе
Будут светом, что светит во мгле.
Тает облако белое в небе
Остаётся любовь на земле.
Как мы жили, давно позабыли,
Но дано нам почувствовать вновь.
Мы не зря в этот мир приходили,
Даже если не очень любили
Всё равно остаётся любовь,
Всё равно остаётся любовь.

Вологодскому гармонисту
Константину Пирожкову

Иней ложится на землю.
Близкой зиме улыбнусь,
Видимо, зря говорится
Походя «Тоже мне гусь...»
Воздух холодный клубится,
Лёгкий морозец бодрит.
Но перелётная птица
Родине верность хранит.
Травушка во поле вянет,
Стая сбивается в круг,
Но до последнего тянет,
Не улетает на юг.
То ли вожак встрепенулся,
Крылья свои распластав,
Только охотник вернулся,
Дичи не настреляв.
Слух взбаламутил деревню:
Будто, стреляя навскид,
Видел, как трепетной тенью
Гуси взмывают в зенит.
Долго гармоники пели,
Песней сводили с ума:
«Гуси на юг улетели
И наступила зима».

Снова я уступаю надежде
Только ей, велика ли беда,
Словно годы, что выпали прежде
Тают, не оставляя следа.
Снова кажется: я ещё молод,
Мне легко забывать о былом.
Кружит снег, словно ангел Никола,
Осенья холодным крылом.

Как будто Бог крошит нам белый хлеб,
Но и к нему летит другая птица.
Владимир Соколов

Зима придёт — дела пойдут на лад,
Не снегопад же нам на плечи давит,
А снег идёт, и я уже крылат,
И веришь ты, что Бог нас не оставит.
Как за стеной, за белой пеленой
И нам ещё дано полюбоваться
Как чистота небесная с земной
В заснеженности сей соединятся.
В такие дни иной пейзаж нелеп,
До горизонта стёртые границы,
Как будто Бог крошит нам белый хлеб,
Но и к нему летят другие птицы.
Нам цепенеть в молчании и бледнеть
В столпотворении этом остаётся?
Но крылья для того, чтобы взлететь,
А не за крошки хлебные бороться.
Отчётливее в этой белизне
Оторванность от суетного века.
Не всем хватает хлеба на земле,
Но в небесах ещё довольно снега.
И потому, что я ещё крылат,
И веришь ты, что Бог нас не оставит.
Пришла зима — дела пошли на лад,
И снегопад на плечи нам не давит.

Во тьме кромешной лучик узкий.
Я голос свой не узнаю:
«Я русский, Господи, я русский!»
«Иди к своим, они в раю!»

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ

В годы несытого быта,
В пору студёных времён,
Зимнее солнце сокрыто,
И небосвод убелён.
Стихла житейская вьюга,
Но не на все времена,
Дивная эта округа
Снегом занесена.
Чтобы земля не остыла,
Жизнь беззаветно любя,
Зимнее солнце явило
Хладному миру себя.
В небе заснеженном реет,
Гордо, победно, светло.
Зимнее солнце не греет,
Но обещает тепло.
Словно грядущее знает,
Тайные зрит письмена,
Зимнее солнце сияет -
Не за горами весна.
Ну, подморозило малость
И в серебре голова,
Зимнее солнце закралось
В эти земные слова.
В русские наши старания,
Что и в холодные дни,
Зимнее солнцестояние
Нас до тепла сохранит.

И памятник придумывать не надо -
В России снег.
С небес и до земли
Серебряные нити снегопада
По жизни, распахнувшейся крылато,
Холодными прожилками легли.

Эти ризы небесного света,
И Казанская в белых цветах,
Херувимскою песней согрета
Обитает душа в небесах.
Здесь, под сводами русского храма,
Православную веру храня,
Божьей Матери молится мама
За меня, за меня, за меня...

Сегодня вынос плащаницы.
Каильный дым не ест глаза,
Но словно раненые птицы
Восходят певчих голоса.
Они вовеки не прервутся,
Смотреть на свечи не дыша.
И льются слёзы, слёзы льются,
И очищается душа.

Мне всегда казалось: это было,
Только почему-то позабыл:
Тишина небесная царила,
И молчаньем старец говорил.
Видел он духовными очами:
Книгу, не написанную мной,
Ангел с золотыми волосами
Бережно кладёт на аналой.
В ней такие чистые страницы,
В ней такие светлые слова,
Словно снег на солнышке искрится
Самая правдивая глава.
Я её, как другу дорогому,
Сам не знаю, как и доверял:
Золотом писал по золотому,
Серебром по серебру писал...

АЛЕКСАНДР ТОКАРЕВ

ВЕДЬМА

Рассказ

«Иж» прокатился еще несколько метров по лесной дороге и остановился, уткнувшись в обочину. В наступившей внезапной тишине открылись обычные осенние звуки. Шумел лес, и было слышно, как падают сухие листья в дрожащем на ветру осиннике. Река, кажется, была рядом. Это было видно по слабым просветам среди густолесья. Словно бледный лик пытался проглянуть сквозь ветви облетающих дубов и клёнов. В сторону реки тянулась узкая тропинка, местами перевитая упавшими травами.

- Нам туда, - махнул рукой Андрей, отирая пот, струящийся из-под шлема.

- Ты бы хоть каску снял, - замечаю.

- Я бы еще противогаз напялил, дымишь, как паровоз... Что с мотоциклом? На днях перебирал, карбюратор новый поставил. Должно быть все – чики-чики... А он на ходу вырубился, будто зажигание отключили.

- На месте глянем. Хоть к берегу выбраться...

Мы вытолкали мотоцикл на тропинку и, поскользываясь на сырых листьях, покатали его к реке. Вскоре лиственный лес стал темнее и гуще, переходя в чёрный ельник, где стало уже темно, как поздним вечером. А реки всё не было. Она словно отодвигалась от нас, хотя по нашим расчётам должна находиться рядом.

Заморосил дождь, шурша по жухлой траве. А впереди и просвета не было видно, только белесый туман стелился под елями, переползая через тропинку. Но будто бы слабый свет стал виден за этим туманом и блестящими от дождя деревьями. Определённо, это был свет, но только сумеречный и колеблющийся, не похожий на прогалину по руслу реки.

- Костёр что ли запалили? – почему-то шепчет Андрей.

- Чего ты, шёпотом?..

- Не знаю. Место какое-то странное. Был здесь не раз, а всё по-другому.

- По осени всегда так, когда листья опадут. Зимой вообще не узнаешь, - почему-то шепчу и я.

Токарев Александр Владимирович родился в 1959 году. Автор 2 книг. Член Союза писателей России. Живёт в Йошкар-Оле.

- Так-то так...

Деревья словно отодвинулись, и перед нами открылась поляна, на краю которой стоял тёмный сруб с провалившейся крышей. Дом казался совсем нежилым, но маленькие оконца и поляна перед срубом освещались керосиновой лампой, которая стояла на подоконнике. Около лампы сидел большой носастый кот с кисточками на ушах и внимательно следил за нашим приближением. Блеснув яркими в свете лампы глазами, словно включив дальний свет, он прыгнул куда-то вглубь дома. И сразу в оконце возник тёмный силуэт женщины в накинута по-простому платке.

- Доложил он ей, что ли? Секьюрити хвостатый, фейс-контроль, – толкнул меня Андрей, хрюкнув в кулак.

- Так здесь вообще классика... Баба Яга, кот, избушка на курьих ножках. Ворона только не хватает.

- Вон сидит, – махнул рукой Андрей, показывая на раскоряченную сухостойну, белеющую в сумерках.

И точно: на фоне выбеленного ветрами ствола был виден настороженный ворон, пригнувшийся и взъерошенный от дождя. Сверкнув глазом, он шумно снялся и полетел в ельник. «Крон...кх, кру-ун», – послышалось уже в лесу раздражённое и хриплое, как с простуды.

- Чего птичку побеспокоили? Сидела себе, не мешала... Ходят тут по лесу..., – послышалось от дома ворчливое. – Чего в тепле не сидится, чего всё ищете?..

Мы подошли к полуоткрытому оконцу. Из него строго глядела крупная и по-мужски широкоплечая старуха.

- Если что промышляете по воровскому делу, то здесь брать нечего. И деревни рядом нет. Что плохое за душой имеете, так я сама отпор дам, мало не будет, – она показала мосластые кулаки, перевитые жилами. – И ружьё имеется.

- Нам бы только к реке выйти. Заблудились, кажется. Вроде, и место знаем, а найти не можем подход к воде.

- Знаете-знаете... Лукавое это место, не простое, теряющееся и заговорённое. Всякий раз новое. Рыбаки, что ли?

- Да, бабушка.

- Бабушка... Внучата... Софья меня зовут.

- А по отчеству?

- Хватит и Софьи. Ладно, Андрюшка и Алексашка, провожу я вас. Вижу, просто побездельничать приехали, рыбалкой балуясь, да водки попить. И не смотрите дураками, вижу я вас насквозь, ещё там увидела, когда на дороге встали. Да и встали-то не случайно... Это я уж просто так выспрашивала, для формы.

- Софья, вы, кажется, за детей нас держите. Двадцать первый век на дворе. Ведьмаки и ведуньи сейчас в город перебрались, лохов разво-

дить. Если не секрет, как имена-то наши узнали? Из поселкового совета Палыч эсэмэс скинул?

- Лесной дядя шепнул. Верьте-не верьте, ваше дело...Главное, в лесу не гадыте и на реке. Иначе и ваш Палыч не поможет, пузан сладкоречивый.

- А вы-то здесь что делаете, Софья? Одна, в лесу? До посёлка не близко. Что-то и есть ведь надо. Да и жильё у вас совсем разваливается.

- Сыночка я своего тут жду. Ушёл на рыбалку, и что-то долго нет его. Придёт, кровинка моя, а там и крышу починит. Он у меня всё умеет, самостоятельный. Заигрался, наверное, на реке. А потом и квартиру нам дадут за это жильё. Вот потому и живу здесь, охраняю, чтобы потом в квартире нам с Лёней-сыночком спокойно пожить. Дадут ведь нам квартирёнку-то, мужики, а? – Софья как-то осела слабо, наклонила голову, и глаза ее остановились невидяще где-то за нами. «Лёнечка ты мой, дадут нам с тобой квартирку, заживём. Ещё как заживём, хороший мой... Ты, главное, там у воды поосторожней и домой поспешай...Заждалась я».

Мы переглянулись. Ничейная развалина в лесу вдали от всякого жилья. Какая квартира? Сыночек у реки заигрался...

- Софья, а сколько лет вашему сыну?

- Так двенадцать годков ещё всего. Маленький, но хозяйственный мужик будет. Вот придёт только... На реке задержался, придёт. А покушать у нас тоже есть. Васяня нам то зайчика-беляка принесёт, то глухаря. Я, бывает, уточку подстрелю, сетку в старице помочкую. Рыба у нас всегда на столе имеется, хоть карась ленивый, хоть щука-травянка, что с реки забивается по весне. И хлеб у нас есть, сама пеку. А ягод и грибов здесь хватает не только свежими поесть, но и в заготовку остаётся.

- А Васяня кто у нас? Ещё один сын?

- Кот это - Васяня. Да вон глядит на вас. Осторожней с ним. Хаус африканский, камышовый. Чужих, чуть что, сразу дерёт нещадно. А ворон Карлуша, тот, кого вы побеспокоили, яйца птичьи подкладывает каждое утро на крыльцо. Старый уже, сам больной, а заботится. Так и живём. Ну, ладно, заболталась я с вами, покажу дорогу и буду сынка ждать.

Софья проводила нас до края поляны, а там сразу будто открылся другой мир, светлый и просторный, где за краем леса плавилось солнце оранжево-тепло, и бежала река, позванивая на перекатах.

- Ну, ладно, мужики, ни хвоста вам, ни чешуи, а про баловство на реке помните, лишнего не берите.

- Удачи и вам, и Лёне вашему привет.

- Спасибо, добрые люди, передам, как придёт. Обратно с мотоциклом вдоль реки потарахтите, вон туда, а там - на тропу выберетесь, которая на дорогу выведет. Сюда не возвращайтесь, не найдёте путь.

- А почему?

- Не стану объяснять. Не поймёте всё равно. Идите вперёд, не оглядывайтесь.

Ошеломлённые, мы стояли на берегу. Почему-то немного кружилась голова. Оглянулись, а Софьи уже не было.

- Чертовщина..., - начал, было, Андрей...

- Забудь, крыша поедет. Давай снасти выставлять.

До самого позднего вечера мы насаживали на крючки закидушек резаных сорожек и мочки подлистников. Забрасывали снасти, целясь тяжёлыми грузилами под высокий правый берег. А едва стемнело до черноты, как брякнул один колокольчик, другой... Налим вышел на косу перед ямой, хватая сонную рыбёшку и всё, что копошится на дне. В свете фонарика видно, как, мягко качнувшись, осел вдруг колокольчик закидушки, тенькнул звонко и осторожно на излёте, а потом уже забренчал монотонно и настойчиво. Толкнуло в руку после подсечки и, словно придало ко дну поводок с живой тяжестью, а потом пошло, отдаваясь по леске короткими толчками. Всплеск на мели, белое изворотливое брюхо, и вот уже вьётся в руках змея-не змея – чёрный и ледяной налим за килограмм, разжимая мои ладони сильными упругими мышцами. Теперь – к другой закидушке, где колокольчик брякал. И там налим ждал терпеливо. А потом присели мы с Андреем поужинать. У костра и с водой разговорились, между делом пытаюсь привести мысли в порядок.

- Слушай, Лёне-то её всего двенадцать, а ей не меньше восьмидесяти... Это как? – блестит глазами Андрей, дохрустывая огурец-малосол.

- Да здесь всё непонятно. Ворон яйца носит на завтрак, кот какой-то африканский, хаус, на рысь больше похожий. Зайцев душит и, как собака, хозяйке выдаёт без расписки.. К Палычу подъедем, его район, расскажет, что да как...

Утром мотоцикл завёлся с первого пинка. До обеда и к Палычу подкатили.

- Э-э, мужики, да это Софья Прокловна, безумная, - объяснил нам старый товарищ. – Во всём нормальная, пока речь о Лёньке не заходит. С катушек она не просто так съехала. Сын у ней, Лёня, утонул в том самом месте, где вы были. Я Софью сколько раз уговаривал в посёлок переехать, комнату ей давал в бараке, с удобствами, хоть и не со всеми. Она – ни в какую. Силой даже забирали, в смиренной рубашке. Так она замки в психушке как-то отмыкала и снова в лес возвращалась – сына ждать. Но, по правде сказать, странно как-то, но помогала она. Всех хищников с электросачками и динамитом вывела с реки. Ни один не суётся больше. Любая машина встаёт у её поста, и все проходят через неё. Что потом – непонятно. Если с удочкой, как вы, ловят, отдыхают. Да хоть с сетями, если немного их, а рыба только на еду. Другие бегут, а потом ссатся под себя да с ложки едят, маму зовут и пузыри пускают.

Года через два мы с Андреем снова были здесь. Как нам рассказал Палыч, Софья Прокловна умерла, а к месту, где она жила, и близко никто больше не подходил с одного времени. Видели и не раз, как в яркое полнолуние шла по той поляне высокая женщина, держа за руку мальчика, а рядом кот здоровенный семенил, с вороном на спине...

ИРИНА САДОВИНА

БОГ НАМНОГО БЛИЖЕ

МЕЛИССА

Уши мои приспособились к слышанию
Крика динамиков, трёпа в моллах,
А голос пчелы - октавами выше.
Не удивляйся, что очень долго

Я не замечала жужжащих пятен
На периферии своего видения.
Теперь я люблю, или просто спятила...
Я буду пчёлкой твоей, води меня!

Вот полграната, твоя порция.
Меня на поверхность Земли вернули
К тебе, единственный Бог Солнца,
В моих волосах поселивший улей.

Вот и мой любимый город
Изуродован весной,
Узких улиц кривизной
И берёзами исколот.

В символ красоты российской
Город кем-то превращён,
Мне б уехать... а ещё
Я б хотела быть курсисткой,

Чтоб в своём пальто неброском
Растворилась я в толпе,
Чтобы небосвод был бел
Где-нибудь над Брест-Литовском.

Вместе нам веселее, знаю.
Только я ведь – нимфа лесная:
За мечтой себя волочу,
А других и знать не хочу.

На тебя не обижусь даже;
У тебя есть друзья со стажем,
И друзья те – с медными локонами,
Светлоокие! синеокие!

Видишь? Я и признать не смею
То, что вместе нам веселее
Воровать сухари и сливки,
Из Шекспира читать отрывки,

Быть собой – но помимо этого
Музыкантами и поэтами...

Ах, боюсь я, боюсь: а вдруг
Ты мне вовсе не будешь друг?

Я в лица людей – культур –
Стран – религий – смотрю.
У нас, иностранных дур,
Это – любимый трюк:

Что бы кто ни сказал,
Слышать всегда одно
И то же; в любых глазах
Вглядываться на дно

Души, и – видеть одну
На всех – усталую душу...
Родную мою страну
Прогресс не задушит,

А я застряла в США,
Вздором себя занимаю...
Не будет жизнь хороша
До мая – до мая – до мая.

Круг от лампы и клёкот клавишный,
На колёсиках чемоданы...
Утешаю себя: исправишься,
Станешь девушкой иностранной.

И стучит в висках – скоро, скоро...
А я всё ещё брежу Крымом.
Там сейчас человек, которым
Я, наверное, одержима.

Люди здесь счастливы и ухожены.
Только – как они все похожи!
Здесь друзей составляют перечни,
Здесь все улицы – по линейке,
И любовь-то здесь обезличена...

Ах, я так не хочу обычного!
Мне не нужно колец и клятв, мне –
Лишь бы всё было непонятно.
Лишь бы не знать, что случится дальше...
Боже! Дай же мне это, дай же!

Ты в обители Эроса, дура!
В раю этом выжить попробуй.
Я гляжу на его красоту
С нарастающей злобой.
Затащил к себе, привязал...
Ни на что не похоже!
Он дитя: голубые глаза,
Деликатная кожа.
Вылезай из кровати! Любовь
Зародилась на кухне,
Где есть свечи, плита и духовка,
Огонь не потухнет -
Так пылай и живи!
Только, может быть, в эту же осень
Оторву ему голову и
Унесу на подносе.

ДЛЯ ПАСИФАИ

Следила тщательно:
Каждый хрящик
Стал тяжелей.
У Богоматерью
Себя мнящей
Живот - желе!

Как обречённо
Гудели мышцы,
Густела кровь.
Толкала плечом
Подружек (лица
Не дев - коров),

А те: - Гляди же
(пока плюёмся
тебе в бокал)
На загородивший
Дверной проём
Силуэт быка.

DANGEREUX VOISINAGE *

Бог к кровати присел
И шептал мне: "Согласна?
Кричи на весь рай!"
Смотрят все, знают все:
Мы - соседи опасней,
Чем брат и сестра.

Будет Бог нашим другом;
За письма, что пишем,
За трагичность конца
Близость (ближе супругов,
Любовников ближе)
Простит - близнецам!

Хоть имение Ашеров
Рушится, падая
В прах и золу,
Только суд нам не страшен,
Не страшен, а радует.
Брат! поцелуй!

* *Опасное соседство (франц.)*

Мне, ещё одной одержимой женщине,
Что-то тёплое, вязкое рвёт живот.
То, что матерью было обещано,
А я не верила, вот оно вот!
Это ломание в пояснице,
Движение еды по пищеводу вверх,
Важнее намного, чем веселиться,
Чем пьянка в Килбурне, например.
И, несмотря на моё намерение
Работать (гордость нации, ударник труда)
Придётся всё бросить, потому что главное
Эта справедливо заслуженная беда.
Я знаю, этому есть причина.
Все женщины девственницами умрут.
Там, где держали бы мы мужчину,
Сидит холодный, безмолвный спрут.

Вместе с Луной активность наша пошла на спад.
Пусто в моей квартире без ваших тел.
Свечи зажгу, и голая буду спать,
И буду думать о том, кто меня хотел.

Не так, как раньше, когда не могла простить,
Когда обиды и страсти галдели в моей душе,
Когда я хотела жизнь свою посвятить
Царапанью глаз и свёртыванию шей,

Как в сказке, в которой над нашей избой порхал
Растлитель девственниц, некий Огненный Змей...
Но мне, болтающей бред и скачущей по верхам,
Не нужен никто, кроме Ани и Стаси и их семей.

Мы как две курицы – тоже птицы.
Писки и перья. Сплошной восторг.
Мы наконец-то смогли родиться,
Выклевали себя на простор.

Здесь замечательны парки, клубы
И свет экранов, и солнца свет.
Ах, как мы молоды, как мы любим
И главное, как нас любят в ответ!

Забыла в запале ночи
Всё виденное с высоты дня.
Хочу, чтоб юбка - короче,
Хочу смеяться бесстыдней,
Любить - смелей и свободней,
А было: честнее, чище...
Ах, ночь! известная сводня,
Таких женихов отыщет!
Толкает вперёд: не мешкай,
Под взглядами не трепещи так.
Но блузка моя - насмешка,
Плохая сердцу защита.

Мой родной, живи и помни.
Бойко вертится Земля,
Друг за другом Клайд и Бонни
Побегут через поля.

Душно, жарко, пахнет мятой,
Ждёт изгнание и позор.
На её косынке мятой
Пёстрый плавится узор.

Повнимательней взглядишь-ка:
Как знакомы их черты!
Бродит будущее близко:
Это будем я и ты.

Громко песенку завою.
Как закончится она,
Нас накроет с головою
Кукурузная волна.

Всё посеянное - жни!
Прорастай на новой почве.
Встречи, что тебе важней,
Будут чаще и короче.

Эту новую черту
Сможешь перепрыгнуть махом.
Будет бубенец во рту
Добрый знаком, добрым знаком.

Утро всё переделает.
Утро субботы!
Как моё тёмное тело
Ждало работы.
Ух, заплетён мой стих,
Цветен, разн,
Уединённости тих
Соблазн.
Лови работу
Руками, ртом,
Горбись - а пОтом
Гордись потОм.

ВАРЕЖКИ

Они там лежали так тихо, робко,
Как добрые маленькие зверята,
Посередине пустой парковки.
И надо же, в тот момент я прошла там!

А я бежала к своим эспрессо
В пальто квадратном и мёрзла сильно...
Тут всё становится интересным,
Как в самом начале любого фильма.

Нагнулась к ним, как к щенку, как к кошке.
Пушистое чудо лежит у ног! По-
том мне согрели они ладошки,
Как мать смогла бы. Как ты не смог бы.

На смену осени (осень людей изрядно
Поистрепала, проволокла по улицам,
Сшибая вместе, и люди друг к другу в объятья
Бросаются, лишь бы от холода не окочуриться) -
Спустилась зима на автобусы и на здания,
В которые входит Филипп, а с ним Ирина,
И Филипп сморкается и предаётся отчаянию,
А Ира ест мятые, пахнущие утренником мандарины.

Прочти и не отвечай! Нам
Любовь уже не видна. Жди
Того, что будет случайным,
Что будет только однажды.

Я хочу расставаний.
Попроси ради смеха
Спать на одном диване,
Никуда не уехать.

БОГ НАМНОГО БЛИЖЕ

Смысл существования прост.
Истины призывы к нам
Слушай. Лепестками роз
Вся тропа усыпана.
Воздух чист и серебрист,
Странно неподвижен.
Бог далёк. Но оглянись -
Он намного ближе.
В первых каплях дождевых,
Холодящих кожу,
В ягодах, цветах живых,
И в глазах прохожих.

ЛЕВ ЯТМАНОВ

НА МАЛЕНЬКОЙ ЛЕСНОЙ СТАНЦИИ

Рассказ

- Ну, конечно, съезди к дяде Паше, попроведай, как они там, а то пишут, пишут, зовут, а мы всё не соберёмся. Съезди, повидай, уж который раз приглашают, неудобно даже, ведь не чужие... - говорила Игорю мать, держа в руке только что прочитанное письмо.

Писал им старший мамин брат, бригадир леспромхоза, живший с семьёй в посёлке на станции, километрах в ста от города. И хотя поезд шёл туда не более трёх часов, последний раз мама была у брата два года назад, всё не выкраивалось времени, а Игорь — и того дольше. Он уже стал забывать дядю Пашу, его жену Марью Сергеевну или, как её звала мама — Мусю, и своего двоюродного брата Володьку, который был двумя годами старше Игоря.

- Так ты собирайся, сынок, съезди на воскресенье, попроведай родных, - продолжала мама просить Игоря, словно чувствуя за собой вину, что сама так долго не была у родственников.

- А ты? - спросил Игорь. - Ведь дядя Паша и тебя зовёт.

- Ну куда же мне? В воскресенье у меня опять дежурство, - отозвалась мама, сокрушённо вздохнув. - Ты передай Паше и Мусе, что в июне обязательно приеду. Возьму отпуск и на целый месяц к ним укачу. А пока рада бы, да никак...

Мать Игоря работала телефонисткой на междугородней станции, работала по сменам, и выходные дни у них совпадали редко.

Письмо от дяди получили сегодня. Дядя Паша писал, что дома у них всё в порядке, живут хорошо, что в лесу уже вовсю весна, и кругом такое загляденье — глаз не оторвёшь! - и что все они ждут-не дождутся родных и в обиде на них немного.

Дядино письмо было адресовано им обоим — Игорю и маме, а в конце стояла особая приписка, и это уже специально для Игоря. ... «Ну а дичи нынче — страсть! - писал дядя Паша. - Так что ты, Гарька, не раздумывай и приезжай хоть на воскресенье. Возьму тебя и Володьку на охоту. Хошь — на току посидим, хошь — утей постреляем. Можно и за вальдшнепами

Ятманов Лев Иванович родился в 1936 году во Владивостоке. Автор 3 сборников рассказов и романа. Член Международной ассоциации писателей и публицистов. Живёт в Йошкар-Оле.

пойти. А скажу тебе: вальдшнепиная охота — вещь даже очень заманчивая. Один раз постоишь — на всю жизнь охотником станешь!...»

Что такое вальдшнепиная охота, Игорь представлял смутно. Он много читал про неё, видел этих странных длинноклювых птиц на картинке, и само непонятное слово «тяга» всегда волновало Игоря, будто пахло от этого слова чем-то лесным, загадочным и потаённым...

И вот теперь, прочитав последние строчки дядиногo письма, он вдруг нестерпимо захотел в лес, к дяде Паше, этому, как помнил его Игорь, сильному и высокому человеку, лучшему охотнику в округе.

Всё, что было нужно, собрали с вечера в субботу. Мама сходила в магазин, купила два сдобных свежих батона, коробку хороших конфет, лимонов, всего того, что, конечно, редко было на маленькой станции, да и ехать в гости с пустыми руками казалось неудобным.

Игорь же ворчал на маму:

- Ну зачем ты это всё кладёшь? Нужно им очень, да? Ты бы ещё селёдки купила...

Но мама спокойно и рассудительно возражала:

- Ты, Игорёшка, ещё ничего не понимаешь. Конечно, невелики подарки, а им приятно будет. Да и дядя Паша никогда порожним не приезжает. То мясца привезёт, то грибочков, то огурчиков. Так уж принято...

Игорь и сам знал, что принято чем-нибудь обрадовать родственников, но ему казалось, что везти в посёлок конфеты и сдобные булки даже смешно. Вот лимоны — куда ни шло: они и в городе бывали редко.

Когда сборы были окончены, мама ещё раз оглядела комнату, не забыли ли чего, потом спросила озабоченно:

- А уроки ты все сделал к понедельнику?

- Ой, мама, ну, сколько же тебе раз надо говорить, что теперь на воскресенье нам не задают! Это раньше так было.

- Да, да и правда, совсем забыла. А ведь прежде-то, помню, и учили, вроде, больше и экзаменов больше было. Ох, распустили теперь учеников, разбаловали!

Потом они долго сидели за столом, и мама рассказывала Игорю, как трудно жилось её семье после войны, как дядя Павел, самый старший, уже женившись, отрывал от своей семьи кусок, чтобы помочь стать на ноги младшим сестрёнками и братишкам, и какой он славный и добрый, этот дядя Павел, любимый мамин брат.

- И вообще никуда не надо было нам уезжать из посёлка, жили бы да жили потихоньку, - с сожалением вдруг вздохнула мама. - Корову бы купили, огород развели, а кругом тишина,.. покой...

- Вот вечно ты со своим покоем, - обиделся Игорь. - Разве здесь нам плохо?

- Нет, отчего же, сынок, хорошо, конечно. А только непривычная я

к городу-то. Вот уж который год живу, а по весне-то особенно так и тянет меня в поля. И ничего, видно, тут не поделывать...

- Чего же ты тогда сюда приехала? Жила бы в своём посёлке.

- Время такое, сынок, было. Трудное время. В колхоз идти — голодно. Это у кого семья поменьше, да кормилец в доме, те ничего ещё, выжили. А у нас как отец с войны не вернулся, так и полетело всё вверх дном. Одна мать, а нас шесть ртов. Паша-то, правда, помогал, да всё равно туго было. Вот и подалась я в город, на фабрике работала, потом на телефонистку выучилась, так вот и живу с тех пор здесь.

- А почему ты про папу мне редко рассказываешь? - спросил, помолчав, Игорь.

- Ну что ж тут — слышал ведь. Дело житейское. Познакомились мы с ним, когда я ещё на фабрике работала, года два прожили, а когда ты родился, отец-то попивать начал. Ссорились, ну, да и понятно — веселья-то мало. Так и разошлись. А потом он уехал. Да что об этом вспоминать-то? Живём одни неплохо. Ты вон через год в техникум пойдёшь, а там, глядишь, на ноги встанешь. Осенью обещали квартиру новую дать, премию в том месяце получила. Чего уж тут жаловаться — самое трудное позади. Ты вот только учись хорошо, а об остальном и не думай, Игорёчек, так-то...

Говорила мама об этом обычно заученно, просто и коротко, словно и не о чем было переживать, да, наверное, и вправду, та старая обида на неизвестного Игорю отца уже давно минула и забылась, но Игорю всегда было жаль маму свою и себя немного жалко.

Он думал, что когда-нибудь разыщет отца и скажет ему все горькие слова, посмотрит на него и пойдёт прочь, потому что ничего Игорю не надо будет от этого человека, который оставил их в трудную минуту.

Но говорили они про отца очень редко, мама не любила вспоминать об этом, старалась отмалчиваться или отвечать коротко и односложно, как теперь. И Игорь, подчиняясь маминому желанию, тоже старался редко заводить разговор на эту тему, и вскоре, как и мама, забывал о нём, потому что действительно, зачем же мучить себя неприятными думами, когда в общем-то им действительно хорошо вдвоём...

В двенадцатом часу Игорь стал ложиться спать. Перед тем, как лечь в постель, он подошёл к окну, посмотрел вниз. С пятого этажа хорошо была видна улица и угол площади. Несмотря на позднее время, по улице шло много людей, снизу долетали их голоса, чьи-то счастливые и беззаботные всплески смеха, шарканье ног, изредка шелестели по мостовой шины запоздалых автомобилей, светились вывески магазинов, на перекрёстке мигали, меняясь, огни светофора, пахло сухим асфальтом, пахло недавно проклюнувшейся молодой листвой лип.

Кончился апрель, был тёплый субботний вечер, стояла весна, и все радовались ей, радовались близким праздникам, недалёкому лету, а Игорь

был счастлив ещё и оттого, что завтра ждала его долгая дорога, ждали родные и вообще всё очень хорошо на свете, когда тебе только 14 лет.

Было солнечное и тихое утро, когда Игорь проснулся, С вечера он, боясь проспать, поставил будильник, но будильник почему-то не зазвенел, и Игоря разбудила мама.

- Да ты не спеши, успеешь ещё, - уговаривала она его, торопливо жуящего свой завтрак. - А всё-таки я провожу тебя, хоть билет куплю, а то, знаешь, сегодня воскресенье, народу на вокзале много будет. А оттуда и на работу проеду, прямо к смене поспею.

- Вот раз так, то вообще никуда не поеду! - сердился Игорь. - Сам всё сделаю.

- Ну ладно, ладно, - успокоительно сказала мама. - Ведь я же за тебя беспокоюсь. В кои-то веки собрался к дяде, а тут вдруг из-за малого пустяка, из-за билета, можешь на поезд не сесть. Если уж очень много народу, так ты подойди к кому-нибудь тихонечко и попроси билет-то купить: авось не откажут...

- Сказал же, что всё сделаю, вот ведь ты какая! - продолжая сердиться, но уже успокаиваясь, говорил Игорь.

И было так всегда: не считала мама его за взрослого, и всё-то ей казалось, что сын сделает что-нибудь не так, и уж лучше последить за ним, лучше самой сделать, так-то оно спокойнее.

И Игорю было от этого страшно неловко и перед самим собой, и перед школьными товарищами-семиклассниками. Из-за этого Игорь в последнее время часто ссорился с мамой, которая потом тихонько плакала, а сам Игорь мучительно страдал от этой своей грубости и в конце концов, каясь, просил у мамы прощения.

Ссоры забывались, и они снова мирились, мирились до того случая, покуда мама при друзьях Игоря вдруг начинала то заботливо поправлять ему шарф, то, уходя из дому, целовала его на прощание, никак не понимая того, что сын её вырос и эти естественные проявления внимания и ласки теперь очень смущают его, взрослого.

- Хорошо, хорошо, я не пойду на вокзал, только до автобуса провожу, ладно? - просила мама, и Игорь знал, что она всё равно настоит на своём, неохотно кивнул головой.

На улице было по-утреннему прохладно и пустынно: тени от домов и деревьев были ещё длинны и глубоки, и редкие лужицы под покровом этих теней были затянуты хрустким и тонким ледочком.

Редко проходили по улице пустые автобусы, но город уже просыпался, уже дворники заканчивали мести тротуары и появлялись первые прохожие, которые неизвестно зачем поднялись так рано в это воскресное свободное утро.

- Смотри, - говорил Игорь маме, - никого и нет на остановке. И на вокзале-то сейчас пусто, а ты волнуешься.

- Приедут ещё, - ответила мама. Но она ошиблась, и когда Игорь, взволнованный мыслью, что не сумеет достать билет на первый утренний поезд, вошёл в здание вокзала, то увидел, что у кассы стояло человек десять, да и зал ожидания был почти пуст. Зато потом люди стали прибывать быстро, зал скоро наполнился говорливой толпой, и Игорь подумал, что мама сделала всё же правильно, разбудив его пораньше.

Сначала поезд шёл медленно, часто останавливался на маленьких станциях, и пассажиры понемногу заполняли весь вагон, но потом пошёл быстрее, город давно скрылся из виду, и за окнами начали мелькать и оставаться позади рощицы, деревни, дома путевых обходчиков. Проплывали поля с подсыхающей розоватой пашней, и уже местами, где почва пообсохла, видны были первые тракторы, медленно бороздившие землю. Иногда поезд взлетал на мост, и тогда вагон наполнялся металлическим грохотом, за окном стремительно проносились ажурные сплетения балок, показывалась мутная речка в коричневых берегах, а через мгновение грохот и гудение смолкали, и взгляду вновь открывались весенние поля и леса, словно подёрнутые нежным зеленоватым туманцем.

Постепенно вагон пустел, сходили пассажиры, и когда Игорь доехал до места, на его станции сошло человек пять, а вагон стал совсем пустым.

Игорь постоял немного, проводил глазами поезд, скрывавшийся за поворотом, поправил в руке сетку, и, миновав привокзальный скверик, вышел на улицу.

День разгорелся совсем, солнце сильно припекало спину, и хотелось поскорее добраться до места, где, наверное, уже ждали Игоря.

Посёлок со времени последнего приезда Игоря ничуть не изменился, но всё же Игорю пришлось поплутать по запутанным и узким его улочкам, отыскивая дядин дом. Номеров и указателей улиц на многих домах не было, хорошо ещё, что перед уходом Игоря мама сунула ему в карман листочек с планом.

Дом дяди Паши стоял на особицу от остальных: он не выходил на улицу, а приютился в глубине двора, и чтобы добраться до него, надо было пройти узкой тропкой вдоль забора по огороду.

Игорь толкнул калитку и шагнул во двор. Земля уже подсохла, лежала рыжеватыми комьями и была покрыта сухими лиловыми стеблями прошлогодней ботвы, да кое-где виднелась старая и сморщенная, смятая дождями и высушенная солнцем и ветром картофельная кожура, зато у забора уже вовсю щетинилась молодая травка, ярко зеленая под весенним солнцем. Кругом бродили куры, которых то и дело пугал рыжий гончий пёс, носившийся взад и вперёд по огороду.

Пёс был шумлив, радостен, он то рылся в земле, фыркая и сопя носом, то вдруг гавкал, налетал на кур, гонялся за ними, а те с сердитым и обиженным квохтаньем кидались в разные стороны, пока рыжий их преследователь не забывал о своих жертвах и снова не на-

чинал яростно копать яму, так что земля далеко разлеталась из-под его лап.

Едва завидев Игоря, пёс бросился к нему, ткнулся в рукав испачканным землёй носом и принялся шумно и быстро обнюхивать Игоря.

Игорь, же немного побаиваясь суматошного этого пса, стоял в нерешительности, не зная, что ему делать: идти ли дальше или обождать, пока кто-нибудь не заметит его и не прогонит прочь назойливую собаку.

И, правда, дверь дома открылась, и на крыльце показался дядя Паша. Это был он, Игорь вспомнил его сразу, хотя дорогой всё думал, что не узнает дядю, потому что очень уж долго не виделись они.

- Баян, ко мне! - крикнул он собаке. - А ну иди же сюда, шельмец! Вот я тебе! Да кто там? Проходи, не бойся! - снова крикнул он теперь уже Игорю.

- Гарька! Ты? - удивился дядя Паша, когда Игорь подошёл к нему. - Приехал-таки... Здорово, племян! - обнимая Игоря, продолжал дядя Паша. - А я слышу, калитка вроде стукнула, гляжу — идёт кто-то, а разобраться не могу. Да и где узнать сразу-то: вырос ты, совсем мужик взрослый. А тебя, стало быть, Баян мой напугал. Молодняшка ещё, дурашливый, ты не обижайся на него, - говорил дядя Паша, словно извиняясь за балованного и хулиганистого пса своего. - Ну, пошли в дом, чего мы тут стоим-то. А у нас все сегодня в сборе. Вот обрадуются!

А в доме на Игоря сразу же навалились с вопросами и тётя Муся, и Володька, и дядя Павел, - все интересовались городским житьём-бытьём, благодарили за подарки, потом повздыхали, посокрушались, что вот один Игорь приехал, без мамы, и что было бы так славно, если б Зоя смогла приехать, и как бы хорошо посидели бы они все вместе, а то когда ещё доведётся встретиться...

Обедали поздно. За обедом Игорь то и дело взглядывал на дядю, потому что тот говорил много и о разном, но так и не коснулся заветной той темы, о которой писал Игорю.

«Может, он забыл про обещание? - с опаской думал Игорь. - Или не хочет никуда идти сегодня, и не будет ни леса, ни охоты, ни вальдшнепов...»

Но после обеда дядя Паша пошёл в чулан, долго рылся там, а когда вышел, то в руках у него была пара старых сапог, и Игорь понял, что в лес они сегодня всё же пойдут.

- Ну, Гарька, обувку примеряй, - сказал дядя Паша, протягивая сапоги Игорю. - Великоваты малость будут, да не беда — портяночек поболе намотаешь и сойдёт. Умеешь портянки-то крутить?

- Нет, - отрицательно качнул головой Игорь.

- Ну, ничего, племян, дело это нехитрое, покажу. А вообще учись, в армии, брат, туго тому, кто портянки крутить не умеет, - там, брат, на счёт этого ох, как строго!

- Да полно тебе его донимать-то, - сказала тётя Муся, жалея племян-

ника. - Научится ещё. Ты лучше вон Володьку поучи, ему в армию раньше идти.

- А я что? Я умею, - отозвался Володька, который тоже был рад, что пойдёт с отцом и братом на охоту, рад был похвастаться перед Игорем своим ружьём, недавно купленным ему отцом.

Дядя Паша пока ещё не позволял Володьке ходить в лес одному, и вот теперь можно было пойти на охоту и показать брату как метко он, Володька, умеет стрелять.

Но из дома вышли ещё не скоро. Дядя Паша долго перебирал в ящике патроны, осматривая ружьё — своё и Володино, несколько раз спрашивал, не жмут ли Игорю сапоги и удобно ли он одет, потом вышел во двор привязать Баяна, который, почуяв, что люди собираются на охоту, жалобно скулил за дверью, царапая её лапой, и просился в комнату.

- Ну, что, охотнички, в путь? - спросил, наконец, дядя Паша, когда Игорю от нетерпения уже не сиделось на месте.

- В путь! - радостно и разом отозвались Володька и Игорь, и все трое вышли во двор.

- Ни пуха, вам, ни пера, - сказала тётя Муся, провожая их на крыльце.

- Ладно, готовь, чем дичь заправлять, - улыбнулся в ответ дядя Паша.

- Ишь ты, какой быстрый. Ещё не принёс ничего, а уже хвастаешься. Смотри, убьёшь одни ноги...

- Говорю, приправу готовь! - уже от калитки весело крикнул жене дядя Паша. - Да Баяна успокой, а то издёргался весь.

А Баян как понял, что его оставляют дома, так начал скулить и визжать, дёргаться и скакать возле конуры на привязи, и Игорю было жалко смотреть на бедного пса, которому тоже так хотелось пойти с людьми в лес.

Но дядя Паша сказал:

- Нельзя его брать. Всю дичь распугает. Пусть дома посидит, молодой ещё...

В лесу, ещё чистом, голом и сквозящем, было тепло и сыро. От низин, залитых талой водой, от переполненной влагой почвы поднимался туман, который был просвечен заходящим солнцем и казался золотистым. Из-под спрессованного, слежавшегося слоя листьев выступала коричневая вода, идти было трудно, ноги вязли. Дядя Паша шёл быстро. Володька и Игорь едва поспевали за ним.

- Торопись, братва, потом отдохнём, - говорил он ребятам.

На место пришли, когда солнце уже опустилось за деревья. Оно ещё светило закатным золотом меж стволов, ещё вершины берёз были освещены им, но внизу уже наступали сиреневые сумерки, сгущавшиеся с каждой минутой. Туман из золотистого постепенно становился розовым, потом красным, потом совсем пропал, потому что на поляне, окружённой высокими деревьями, темнело быстро.

Наконец, закат почти погас и, только узкая багрово-красная полоса зари медленно дотлевала на Западе, подёргиваясь седым пеплом, с каждой минутой становясь тоньше и бледнее.

- Ну, теперь ждите, - сказал дядя Паша, внимательно глядя в небо.
- Теперь скоро.

Он отошёл на другой конец поляны, оставив Игоря и Володьку вдвоём. Ребята стояли тихо, не переговариваясь, стараясь не трещать сучьями, сосредоточенные, серьёзные и внимательные.

- Смотри не пропусти, - шепнул Игорь Володьке.

- Не, - отозвался тот тоже шёпотом.

Ждали долго, и хотя были готовы к тому, что вальдшнепы вот-вот появятся, оба всё же вздрогнули, когда в той стороне, где стоял дядя Паша, раздался резкий выстрел.

Оба разом повернули головы и увидели, как над тем местом, где стоял дядя Паша, медленно таяло голубоватое облако дыма. Выстрел был удачным, и вальдшнеп упал в шагах десяти от охотника.

Игорь и Володька бросились к птице, подняли её. У вальдшнепа была перебита шея, кровь алыми тёплыми каплями падала на землю, и в сумерках капли эти казались тёмными.

- Здорово! - в восторге крикнул Володька, подбрасывая птицу на руке. - Молодец, батя.

А дядя Паша довольно улыбался, вкладывая в ствол новый патрон...

- А тебе не жалко убивать? - вдруг тихо спросил Игорь, когда немного успокоенные, они вернулись на своё место.

- Чудной ты, - покачал головой Володька. - На то и охота, чтобы убивать. Чего это ты спросил?

- Так... - неопределённо ответил Игорь, и оба снова затихли, всматриваясь в небо.

- Вон, вон летит! - дернул Игорь Володьку за рукав. - Ну чего же ты?

Володька запоздало вскинул ружьё, повёл стволом, ударил вслед вальдшнепу, и, конечно, промазал.

- Эх ты! - разочарованно махнул Игорь рукой, но тут же опять услышал трескучий крик, увидел низкий волнистый полёт птицы.

Следующий выстрел был удачным, вальдшнеп туго шлёпнулся в кустах, и теперь бежал за ним Игорь, а Володька, подражая отцу, довольно улыбаясь и медленно перезаряжал ружьё.

Пахло порохом, птичьим пером, запахи эти волновали Игоря, и ему было очень хорошо здесь, в лесу, вот только птиц немного жалко, этих коричневых длинноклювых птиц с хрипылыми деревянными головами.

Стояли ещё долго, много стреляли. Игорь тоже стрелял, но мазал, и когда сошлись, то оказалось, что у дяди Паши три вальдшнепа, а у Володьки с Игорем два.

- Ну, с добычей вас, браточки, - сказал дядя Паша. - Вот покажем матери, какие мы охотники. А то всё не верила...

Луна взошла, светлое пространство над поляной заметно погустело, было ясно, что охотиться дальше бесполезно, и дядя Паша твёрдо сказал:

- Хватит, ребяташки. Домой двинем, всё равно уже не видать.

Они ещё постояли немного, откладывая в сумку добычу, дядя Паша с наслаждением закурил, потом потихоньку двинулись вдоль просеки.

И когда они шли, то над головой изредка ещё слышалось хлопанье крыльев и хриплые деревянные крики вальдшнепов, но никто уже не старался смотреть вверх, потому что кроме смутной, мгновенно проносящейся тени ничего не было видно, да и спешить приходилось.

Миновали просеку, свернули на тропинку, пошли гуськом, впереди, раздвигая ветви, шёл дядя Паша, за ним Володька, потом Игорь, который следил, как то загорался, то потухал багровый огонёк дяди Пашиной сигареты.

Теперь луна стояла высоко над ними, яркая и круглая, освещая им путь в чаще.

С ветки бесшумно снялась какая-то ночная птица, тёмной тенью удаляясь в сторону, в кустах яростно ударил певчий дрозд, не слышно стало щебета и посвиста дневных маленьких птах. Свежало, наступала ночь.

Охотники шли то и дело попадая в неглубокие рытвины, полные снежной воды, иногда во тьме, под елями что-то смутно белело, а ветер доносил еле ощутимый холодок, и Игорь догадывался, что там лежали не успевшие растаять снеговины. То вдруг становилось неестественно тепло, и тогда о лицо и руки стучались какие-то ранние мошки, потом вновь все трое попадали в холодную полосу, и было очень странно ощущать это резкое чередование температуры. В низинах по земле стлался лёгкий туман, и по нему можно было догадаться, что там ещё стоит вода. Почва пружинила под ногами, их приходилось вытаскивать с чавканьем и чмоканием. Зато на возвышенности подсохло основательно, и сапоги шуршали в ворохах дубовых листьев.

Показались места, широко залитые водой, и чтобы скоротать путь, охотники брели напрямик, чувствуя, как вода приятно холодит ноги, плотно сдавливая резину сапог.

Игорь шагал крупно и нервно, стараясь поспевать за дядей Пашей и Володькой, он смотрел по сторонам, прислушивался к ночным звукам, вдыхая запахи палой листвы, последнего снега, горьковато пахнущей осиновой коры. Из ближних кустов неслись посвисты дрозда, особенно чистые и звучные, а на траве покоился такой густой туман, что казалось, будто там разлито молоко.

Миновали низину и вошли в высокий сосняк. Теперь идти стало легче, да и светло было в этом редком сосновом лесу. Верхушки дере-

вьев уходили высоко в небо и там глухо покачивались от налетавшего порывами ветра. Здесь же, на земле, было тихо, только слышался немолчный шум и скрип сосен. Длинные, чёткие тени чертили поляну, и Игорю вдруг сами собой пришли на память когда-то слышанные строки:

«...Когда всё доброе ложится и всё недоброе встаёт...» Лёгкий озноб пробежал по его спине, стало жутковато от мысли, что сейчас из-за ствола безмолвно появится и шагнёт им навстречу что-то большое и загадочное...

Он вздрогнул и невольно ускорил шаг, догоняя Володьку и дядю Пашу.

Всю дорогу шли молча, только близ посёлка дядя Паша, обернувшись, спросил:

- Не устали?

А потом добавил:

- Скоро дома будем, терпите.

Путь им преградил длинный овражек, который обходить не хотелось. Дядя Паша, осторожно держась за ветки, спустился на дно, медленно перешёл на другую сторону и стал подниматься вверх. Вслед за отцом также осторожно спустился и Володька. А Игорь разбежался и, оттолкнувшись, что есть силы, прыгнул. Ноги его попали на скользкое, разъехались, он попятился назад, нелепо замахал руками, стараясь удержать равновесие и уже понимая, что это бесполезно, что он сейчас упадёт.

- Эх, как тебя занесло-то, Гарька! - сказал дядя Паша, протягивая Игорю руку и помогая выбраться из овражка. - Чего скакал-то? Да, погоди, погоди, найдём лужицу почище, там и отмоешься, - продолжал он, видя, что Игорь принялся очищать сапоги и колени, перемазанные глиной.

А Володька хохотал над братом, над неумелостью его и растерянным, нелепым видом, так что Игорь покраснел за свою неловкость, одновременно сердясь на Володьку и радуясь, что сейчас темно и никто не видит его смущённого, пылающего лица.

При входе в посёлок чистились долго и старательно, отмывали глину, разрядили ружья, поправили сапоги, патронташи и ступили на деревянные мостки тротуара, которые горбились и пружинисто гнулись под тяжестью людей.

Во всех домах уже давно зажгли свет, и окна манили к себе уютом, теплом, сытной едой и покоем.

А около самого дома им встретился сослуживец дяди Паши, который поинтересовался добычей, пощёлкал от восхищения языком, разглядывая вальдшнепов, и так восторгался, так хвалил охотников, что польщённый дядя Паша пригласил его зайти чуть попозже, отведать жареных птиц.

- Хороший мужик, - сказал он ребятам, словно оправдывал сделанное приглашение. - Пусть зайдёт, посидит. Жена к сыну в гости поехала,

вот он один и скучает, пусть посидит, чего тут...

Тётя Муся, когда ей сказали, что поохотились удачно, не поверила им, стала отмахиваться, говорить, что разыгрывают они её, а потом дядя Паша одного за другим по очереди стал вытаскивать из сумки вальдшнепов и раскладывать их перед изумлённой женой, и та радовалась не меньше охотников и тут же принялась ощипывать ещё тёплых птиц, потому что перья в это время отделяются легко.

Игорь, Володька и дядя Паша разделись, стянули, помогая друг другу, сапоги, размотали портянки и с удовольствием шлёпали теперь натруженными босыми ногами по полу, который заботливая тётя Муся успела подмыть к их приходу.

- Ну, братцы, а сейчас ружья чистить, - сказал дядя Паша ребятам. - Да чтобы до зеркального блеску. А то плох тот охотник, чьё ружьё до завтра нечищенным простоит.

И дядя Паша, пока все трое продолжали чистить ружья, продолжал говорить, что настоящий охотник и ружьё приведёт в порядок, и собаку накормит, а уж потом о себе подумает.

Игорь, нагнувшись на ёршик шомпола тряпку, старательно прочищал стволы и ему было приятно слушать дяди Пашино наставление и чувствовать себя тоже настоящим охотником, усталым и добычливым.

В печи тем временем жарко разгорался огонь, потрескивало масло на сковородке, а когда тётя Муся клала туда куски разделанных птиц, масло громко шипело и брызгало по сторонам.

Пришёл и сослуживец дяди Паши, а вскоре все пятеро уже сидели за столом. От горячей еды Игорю сделалось тепло и хорошо, захотелось рассказать тёте Мусе, как шли они сегодня по лесу, как стояли на тяге, как возвращались во тьме домой, о страхах своих рассказать, потому что ничего особенно стыдного в этом не было. Володька же то и дело поглядывал на брата и тихо посмеивался, вспоминая, как прыгнул Игорь через канаву и свалился в глину. Он наклонился было к матери, но та сказала:

- Ешьте, ребятки, ешьте как следует.

А тех и уговаривать не стоило, потому что действительно, вкусная эта была еда — жареные вальдшнепы. Дядин Пашин сослуживец нахваливал и охотников, и хозяйку, что так всё вкусно приготовила. И чтобы сделать приятное тёте Мусе, вспомнил, как однажды, будучи в Москве, в ресторане «Прага» ел жареных бекасов, но куда там бекасам до тёти Мусиных вальдшнепов! И польщённая хозяйка потчевала гостей:

- Ешьте, Николай Иванович, берите, не стесняйтесь...

От усталости, от горячей еды и крепкого чая и Володьке, и Игорю хотелось спать. Они упорно боролись со сном, подставляли под подбородок ладони, но головы ребят клонились вниз, веки закрывались сами собой, и дядя Паша сказал:

- А ну, братва, живо в постель! Не то носом как раз в тарелки угоди-

те. Мать, постели-ка им в горнице, пусть на нашей кровати вдвоём поспят. Там широко, хватит обоим.

И уже плохо соображая, братья побрели в горницу, где тётя Муся приготовила им постель, взбила подушки, поправила простынь и одеяло.

- Спите, ребята, спите хорошо, а я дверь прикрою, чтобы свет не мешал вам, - ласково говорила тётя Муся, помогая стащить с Игоря свитер. - Эх вы, охотнички, время-то десятый час только, а на вас вон какая дрема напала. Ну да ладно уж, и то сказать — потрудились вы сегодня. Думала, домой-то ноги принесёте одни, а гляди-ка ты...

Игорь плохо слышал, что говорила тётя Муся, ему казалось, что голос её журчит тихо, как лесной ручей, а потом, уже лёжа в кровати рядом с Володькой, он слышал, как голос этот всё ещё звучал, отдаваясь, но слов не понять было, потом всё смолкло, и он заснул, придавленный сладкой и глубокой усталостью.

Сначала Игорь спал, ничего не ощущая, даже согнутые Володькины коленки, упиравшиеся в бок, не мешали ему. Но потом Игорю стало сниться, будто он жарким и сухим летним днём лежал на пляже, солнце жгло спину и плечи, и нестерпимо хотелось пить. Он поднимался и шёл к реке, чтобы зачерпнуть ладонями воду, а она выплёскивалась, и ладони вновь были сухи и горячи. И тогда Игорь понял, что это мираж, о котором недавно рассказывали в классе, что ему никак не достать воды здесь, и от этой мысли пить захотелось ещё сильнее. Он сделал усилие, открыл глаза и пришёл в себя. В комнате, где они лежали, было светло от луны, смотревшей в окно. Он была полная и яркая, словно промытая ночным весенним воздухом. Рядом с Игорем, откинув ноги и сбив на сторону одеяло, спал Володька.

Игоря мучила жажда. Во рту, в горле так пересохло, что язык прилипал к гортани. Обсохли и будто даже потрескались губы.

«Вот ведь сон чудной какой, а я и впрямь пить хочу», - подумал Игорь. Он решил было крикнуть тётю Мусю, потому что сквозь неплотно прикрытую дверь в переднюю видел, что взрослые ещё сидят за столом, но раздумал, побоялся разбудить Володьку, да и неудобно ему отвлекать показалось тётю Мусю от разговора.

Игорь осторожно спустил ноги с кровати, прошёл к двери и тут только вспомнил, что он в трусах, а выйти при постороннем в таком виде он стеснялся.

«Лучше я тихонько тётю Мусю позову, она и принесёт воды», - решил Игорь и уже приоткрыл слегка дверь, чтобы попросить тётю Мусю, как вдруг услышал голос дяди Паши. Говорили они с Николаем Ивановичем негромко, но слова отчётливо доносились до Игоря в тишине уснувшего дома.

- Да я ей сколько раз говорил: «Ну, зачем тебе, глупая моя сестрёнка, обуза-то этакая? Что, своих детей не успеешь народить? А она знай

твердит: «И не говори мне, Павел, и не советуй дурного — никуда Игорь-ка не отдам».

- Да что с ней случилось, с подругой, с Верой-то? - спросил Николай Иванович.

- А-а! Баба, - коротко ответил дядя Паша. - Родила она пацана, ну, Гарьку стало быть, а парень, с которым дружила она, отец, значит, Гарькин, от неё раз — и нету наших. Уехал бог его знает куда — до сих пор найти не могут. Ну а подруга-то Зоина, Вера эта самая, то ли от болезни, то ли от расстройства заболела и умерла. Хотели Гарьку в детдом отдать, тут Зоя и взяла его себе...

В комнате замолчали. Игорь прислонился к косяку и, боясь проронить хоть звук, единым движением выдать себя, стоял молча, с трудом переводя дыхание. И сердце его билось гулко и часто.

- Да-а... - продолжал дядя Паша. - Трудно ей, конечно, пришлось. У самой жизнь неустроенная, дитё малое на руках. Вот я и советовал всё ей: отдай, да отдай Гарьку в детдом. Куда там, и слушать не захотела! А сейчас смотрю на него, Гарьку-то, и самому стыдно делается, что советы такие давал: хороший парень вырос, добрый...

... «Да что же вы говорите-то такое, что вы путаете, дядя Паша! - вдруг чуть не вырвалось у Игоря. - Что вы ерунду говорите какую-то, а?»

- А знает он об этом, Игорь-то? - послышался голос Николая Ивановича.

- Откуда ж ему, - тихо отозвался дядя Паша. - Мать не помнит, годовалый тогда был, а потом для чего ж говорить? Расстраивать только... А Зоя — мать ему настоящая, а то и лучше настоящей. Это уж точно...

«Это уж точно... Это уж точно...» - словно молотом стучало в висках у Игоря. Что, что «точно»? Неужели это правда, то, что услышал он сейчас? Или дядя Паша пошутил, пошутил глупо и нехорошо и сейчас хлопнет Николая Ивановича по плечу, рассмеётся и скажет громко: «Ну и нагородил я тебе тут всякого, верь мне больше...»

Ну, скажи, скажи так, милый дядя Паша! Но из-за двери донёсся его голос:

- Всякое бывает, иной раз такое случится, что и нарочно не придумаешь.

А Николай Иванович добавил глубокомысленно:

- А как же: жизнь есть жизнь...

И замолчали.

А Игорь тихо пробрался на кровать, прилёг с краешку и вдруг заплакал. Плакал он беззвучно, только голова и плечи его дёргались и дрожали. Плакал он от усталости, от жажды, так и не прошедшей, от того, что неожиданно свалилось на него, придавило, сделало беспомощным и жалким. Ах, мама, мама! Сколько же выдумывала ты, говорила не-

правду ему, Игорю! Зачем придумывала несуществующего отца, который будто бы бросил их и которого Игорь уже начинал презирать? Неужели бы он не понял её, свою маму, не отплатил бы ей добром за добро, доверием за доверие? Наверное, она считала его совсем маленьким, и это ещё больше обижало Игоря. А потом он вспомнил, как ласкова была с ним всегда мама, хотела, чтобы ему было лучше, отказывала себе во всём, чтобы одеть Игоря, хорошо накормить его, вспомнил, как заботливо провожала она его утром на вокзал... Ну почему, почему он поехал сюда один, ведь тогда не было бы этого разговора, ничего бы не было, и жизнь их осталась бы прежней?..

Что-то изменилось сегодня в мире, что-то очень большое и важное открыл для себя Игорь. Наступит завтрашний день, он будет так же горяч и солнечен, так же по-весеннему чист и прекрасен, но другими глазами посмотрит вокруг себя Игорь. А, может быть, он сразу повзрослел сегодня? Потом он вновь стал думать о маме, и судорожно глотая невидимые слёзы, решил, что ничего не спросит у неё, ничего не скажет, словом не обмолвится о том, что случайно узнал он сегодня, а подойдёт к маме и крепко, по-мужски обнимет её, поцелует и прижмётся щекой к её мягкой щеке... Да, да он так и сделает. И будет молчать всю жизнь, молчать и любить свою маму. Ах, как долго надо ждать, чтобы доказать ей свою дружбу, свою молчаливую любовь!.. И ещё он думал о той женщине, которая на самом деле была его матерью, и не смог себе представить её образа, не мог... А потом, уже в полудрёме, Игорю стало казаться, что всё это только приснилось ему и не было никакого разговора в передней, не было и сегодняшней охоты, лунного леса, дядя Паши, Володьки, выстрелов, убитых вальдшнепов, ничего этого не было — просто он лежит дома, в своей кровати, а завтра с утра мама поднимет его чуть свет, потому что именно завтра ему надо будет ехать к родственникам, на маленькую лесную станцию...

1967 год

НИНА ЖИБРИК

СТАРИКИ

Рассказ

Июньский день. Еду в автобусе. В широкое окно вглядываюсь в небо. Вчера пополудни и всю ночь шёл дождь. И сегодня ещё небо в тучах, но вроде начинает располагиваться.

- Не бери зонтик, небо становится грудистое, дождя не будет... – утром сказала мама. Спросить, что означает «грудистое», я не успела, торопилась на работу в редакцию. И вот теперь, изучая небо, думаю над этим словом: «И причём тут груди?..» И вдруг догадываюсь: груды!.. Это – комья, как на распаханном поле... Ну конечно же, серые груды облаков – это уже не тучи. Небо сплошь грудистое, меж грудями кое-где угадывается чистая синева – к ясной погоде... Тонкая наблюдательность старых людей!

На одной из остановок у меня за спиной сели два старика. Заговорили.

- Ну, свое, значит, отработал... – Густо басит первый. – Как отдыхаешь?.. – И полюбопытствовал:

- Пенсия сколько?

- Отдыхаю ничово, в саду шавыряюсь... Пенсия восемьдесят пять. – Весело и бодро отозвался второй, сильно окая.

Из их скупых фраз поняла, что это старые друзья. Я погружаюсь в свои мысли...

И вдруг невольно доходят до сознания и уже не отпускают моего внимания слова:

- Да-а, ты молодец, ещё и сейчас крепкий!.. – Говорит одобрительно бас. Помолчав, он раздумчиво и приглушённо, совсем другим тоном, продолжает:

- Страшно вспомнить... Как теперь вижу: ведь из тебя кости наружу торчали!.. Как они тебя тогда, собачьи беляки, саблями отделили!.. А вот ведь выжил!..

- Семь месяцев отлежал в госпитале... Голод был в двадцатом году, сам знаешь, какой, а мне товарищи шоколад приносили!.. Выходили... – Точно обкатывая на ладони каждое слово, неторопливо заокзал в ответ

Жибрик Нина Иосифовна родилась в 1933 году в белорусской деревне Малые Новосёлки под Минском. Автор 5 стихотворных сборников, 4 книг стихов для детей. Член Союза писателей России. Живёт в Волжске.

его товарищ. – Только вот рука... И теперь не гнётся. Да болят к дождю старые раны, как свежие. А ведь сколько лет прошло!.. А они вот болят...

Помолчали.

- Едешь-то куда? – Опять загудел бас обыденно и деловито.

- В Зеленодольск. Дочка захворала, проведать еду...

Забыв всякое приличие, оборачиваюсь и во все глаза смотрю на старика, сидящего у окна. Сухощавый, прямой, неширокий в плечах. Седая голова посажена гордо. Тонкий орлиный нос. Густые широкие брови ещё почти чёрные, только кое-где выбиваются и торчат, как сивец на суходоллом лугу, жёсткие и длинные белые нити. И на спокойном, до черноты загорелом лице, худом и поэтому только слегка опутанном сеткой неглубоких морщин, - неожиданно молодые чёрные глаза. Глубокие-глубокие, в которых где-то на самом дне тяжело, будто расплавленный свинец, всколыхнулась боль... Человек десятки лет носит в себе эту боль войны, словно старую мину... Пока от малейшего непредвиденного толчка не сработает изъеденный временем «взрыватель»... И тогда оборвётся жизнь...

Всё меньше остаётся стариков, защитников отечества. Всё больше сиротеет Россия...

- Смотри, дочка, какие нынче высокие травы!.. Давненько таких не бывало у нас на Волге. Дожди... А косить бы ещё рано... Рано косить. Только середка июня, надо бы дать им дозреть до семян... А их, поди ж ты, уже косют!.. – Мягко и плавно перекатывая «о», возникает за моей спиной уже ставший знакомым голос и выводит меня из задумчивости.

Оборачиваюсь и опять встречаю живые чёрные глаза из-под лохматых бровей. Это он мне говорит о травах... Плотный кругленький бас, оказывается, давно вышел. И старик сидит один. Я что-то невпопад отвечаю, думая о нём, а не о травах, которые уже косят.

- Нам выходить, проедешь свою остановку! – Окликает меня знакомая. Растерянно выскакиваю из автобуса, умоляюще гляжу через окно на старика... Вдруг он мне понимающе улыбается, как добрый знакомый, и – исчезает...

С тех пор не выходит он у меня из мыслей... «Хоть бы адрес у него спросила, чтобы поговорить с ним!..» - «А зачем?..» - Спрашивает внутренний голос. – «Как зачем? Чтобы рассказать о нём: его жизнь может быть интересной и другим людям...»

...Продолжаю думать о нём. И опять слышу слова его товарища:

- Ведь из тебя кости наружу торчали!.. А вот выжил!.. Своё, значит, отработал...

И, кажется, вижу всю его жизнь... Человек, порубанный саблями, выжил – чтобы «отработать своё»... Как должны мы, дети и внуки этих стариков, беречь их уже скудеющие силы, растраченные ради нашего счастья!..

У всех народов, во все времена дети – это брызжащая солнечным теплом, живительная и чистая, как родниковая вода, радость жизни. Её будущее. А старики – это мудрость жизни, её долгая и добрая память. Её уходящее, прошедшее... Это корни, от которых берут начало новые молодые побеги...

И у детей, и у стариков есть характерные общие черты – тонкая наблюдательность и доверчивая общительность. И только в этом, думается мне, права поговорка: «Старый что малый». Да ещё в одном случае: и малым, и старым одинаково нужны и необходимы тепло, забота и внимание молодых и сильных.

Люблю стариков. Каждая длинная жизнь – это как захватывающая книга в единственном экземпляре. Успеть прочитать, не дать ей затеряться и исчезнуть бесследно! Сберечь её от времени!..

Люблю старых людей. Люблю внимательно слушать их доверительные, неторопливые и охотные разговоры о жизни, вглядываясь в их отрёпанные от нашей повседневной суеты и озарённые тихим внутренним светом лица, с волнением открывать в их мудрых глазах неожиданно чистые оконца весеннего неба...

Ранняя погожая осень сменяется поздней, с дождями и слякотным ветром... Старики до дна выпили полную, горькую от всех кровавых войн, выпавших на их долю, чашу жизни... Уберечь бы их, защитить!.. Пусть подольше исходит от них солнечное сияние мудрости и доброты!

Всё меньше остаётся стариков... И сиротеет Россия!..

1974 год, г. Волжск

СЛУШАЯ ЧАЙКОВСКОГО

Музыка Петра Ильича Чайковского... Она такая чистая, как бегущий по лугу ручей, наполненный искрами солнечного света и голубизной летнего неба. От неё веет тихой радостью цветущего сада. И даже печаль у Чайковского светла, как желтеющая берёзовая роща... Истинно русская музыка.

Вот звучит по радио Шестая симфония – вершина творчества великого композитора, где он поднимается до высокого философского истолкования жизни человека и посредством музыки выражает вечную идею жизни и смерти глубоко, правдиво, проникновенно.

Звуки то опускаются до низких приглушённых вздохов, то взмывают вверх, радуясь и торжествуя!.. Отложив все свои дела, слушаю, затаив дыхание...

И вспоминается один осенний вечер, когда это моё любимое произведение открылось для меня как бы заново, обнажаясь до самых глубин, и вдруг стало таким близким и понятным. Впечатление было настолько сильным, что я долго жила образами, навеянными музыкой...

На город опустился тёмный дождливый октябрьский вечер. В небольшом актовом зале нашего НИИ после работы собрались сотрудники, любители музыки. Юрий Иванович Степанов – инженер, кандидат технических наук – любитель и знаток музыки, на этот раз принёс из дому пластинки с записями произведений Чайковского – его Шестую симфонию.

В зале выключен свет. Зажжены свечи... И вот зыбкая тишина постепенно наполняется звуками...

Ничего ещё нет. Тьма. Мрак. Один тёмный, беспросветный мрак! Но он дышит, шевелится, вздыхает... Властвует Рок: низко, грубо, точно из-под земли, вступают контрабасы, фаготы... Рок, взяв своё, захлёстывает, бьёт и крушит!.. И снова тьма... Ничего нет...

Но вот эту непроглядную тьму слабо и неуверенно озаряет робкий свет. Он ещё беспомощен, но он уже зародился среди тьмы и хаоса мрака. Свет проснулся. Оживляется, крепнет, растёт... Он даёт о себе знать – пульсирует тихая, светлая радость. Она то ярче, то тише – как разгорающийся костёр. И всё увереннее заявляет о себе. Начинается борьба сил Света и Тьмы.

И вдруг – взрыв света!.. Рождается Жизнь! Она ещё слаба, но постепенно набирает силу. Всё стройнее звучание чистых, светлых тонов. Царствует гобой – голос мечты и света. Познание. Осмысление самого себя... Безмятежное утро – юность. Безмятежно звучит солнечный гобой – радость и счастье!..

Но уже над этой светлой радостью, где-то ещё далеко, сгущаются чёрные тучи злого Рока. Повевает холодом – грозят бедою фаготы... Но юность беспечна, она не чувствует приближения опасности. Ликует, радуется до самозабвения! Радость поднимается до самой высокой ноты. Растёт напряжение. Кажется, что-то должно оборвать её – так высоко она взметнулась!..

И вот на самой высокой ноте радости – как гром среди ясного неба – удар Рока, Судьбы... Грубый, беспощадный, неумолимый!.. Сбивает дыхание... Всё рушится!.. Одни обломки... Мрак, тьма... Силы Зла торжествуют. Обрушиваются, точно удары молота, на свою жертву – бьют, измываются, злорадствуют!.. Звуки выматывают душу, впиваются в неё, будто змеиные жала... Пляшут, извиваясь над жертвой, тёмные силы!..

Какое-то мгновение – пустая тишина... Всё кончено?!.. Нет. Среди чёрного хаоса оживает мелодия света, мелодия мечты. Она встаёт из-под обломков слабая, израненная. Звучит прерывисто, как дыхание человека, медленно приходящего в себя после катастрофы... Опять начинается борьба сил Света и Тьмы. И тьма неохотно отступает, вскидываясь порою для боя, но она уже бессильна.

Жизнь опять берёт верх, она побеждает. Крепнут радость и надежда. Человек выпрямляется, встаёт. Поднимается в полный рост и, тор-

жествуя, восходит на вершину жизни! Все прошедшие беды забыты, о них даже не вспоминается – их нет.

Человек достигает необычайной высоты, стройности и гармонии. Звучат такие высокие и бурные ноты, что в какое-то мгновение уже становится невозможно выдерживать эту высоту!.. До предела натянуты нервы. Трудно дышать... Хочется закричать!..

И вдруг натянутая до предела струна обрывается!.. Наваливается тишина – плотная, глухая... И – горячий выдох гонга, вроде шипения огромной шершавой пустоты...

Всё. Обрывается жизнь... Изнемогающий гонг выдохнул в последний раз... Жизнь оборвалась на самой высокой ноте, достигнув торжества силы и разума, торжества гармонии. Ничего нет... Опять мрак – развергся, вздохнул и сомкнулся...

Возникает печальная скорбная мелодия – отпевание. Горе близких. Всплескиваются знакомые светлые звуки, как воспоминание о недавней бурной жизни... И - раздумья: а стоило ли так нестись навстречу гибели, ничего не замечая, не переводя дыхание?..

Стоило! Для этого человек родился и жил – для взлёта на недостижимую высоту! Струна оборвалась... Так и должно быть: ничего вечного нет на земле. В этом – мудрость жизни, её изначальный смысл: достичь высоты, вершины.

Мелодия незаметно опускается всё ниже, во мрак... Вой ветра... Мрак становится гуще... Угасают последние вздохи факота... Тишина...

Трудно прийти в себя. Сковано, будто заморожено, сознание – трудно шелохнуться... Не хочется ни света, ни слов. Хочется молчания и тишины. Хочется думать...

1976 год, г. Волжск

ИГОРЬ КАРПОВ

ТАЙНА, ИЗ БЕСЕД С ЮРИЕМ КАЗАКОВЫМ

Как всё тихо и грустно у вас, Юрий Павлович, – и “Двое в декабре”, и “Осень в дубовых лесах”, и “Голубое и зелёное”... Он и она... В рассказах ваших.

Вчера, во время моих одиноких путешествий на лыжах по окрестностям города, я устал и замёрз. На лыжах я не бегаю, хожу неспеша, путешествую. Зашёл в деревню, постучался в ворота крайнего дома. Из окон кто-то смотрел на меня.

Через сени, устланные чистыми половичками, прошёл в тёплую большую комнату. За столом сидели женщина и девочка. Пахло деревенским теплом.

– Что вам?

Женщина подошла ко мне. Только раз в жизни, – помнится, совсем в юности, – в какой-то далёкой деревне я видел такую русскую зрелую красоту, ясное тихое лицо, светлые карие глаза, густые тёмно-русые волосы, тонкий профиль, и благородство какое-то во всём облике. И вот снова... Я и тогда, мальчишкой, внутренне вздрогнул: неужели такое может быть! Здесь, среди этой грубой работы и грубой жизни. И сейчас... Больше я ни разу не взглянул на неё. И так помнил и помню всю.

– Я устал и замёрз.

Женщина повела рукой и чуть наклонила голову, приглашая меня раздеться и пройти. Девочка передвинула книжку и тетрадку на край стола...

Мы втроём, держа в руках стаканы остывающего чая, долго смотрели в окна, провожали темнеющий зимний день.

Совсем не так у меня было, Юрий Павлович, как в вашем “декабре” или “в дубовых лесах”. Ещё несколько раз я приходил в тот дом, и всегда мы... молча, втроём... сидели за чаем и смотрели в окна, сумерничали.

Однажды глаза женщины при моём приходе – я видел, не смотря – засветились тихой глубокой спокойной радостью. И больше я туда не приходил.

Почему? Тайна, и для меня – тайна. Но одно воспоминание о тех сумерках – дурман на всю жизнь.

Карпов Игорь Петрович родился в 1952 году в г. Кисловодске. Доктор филологических наук. Автор 6 книг по русской литературе. Живёт в Йошкар-Оле.

ДРУГАЯ

Перед сном, уже в халате, она, Татьяна, как всегда, подсела к столику с телефоном, попыталась устроиться поудобнее, закинуть ногу за ногу, а нога... фьюить... не закидывается. Опять располнела, барышня, как после первых родов, да-с, шестой десяток... Пришлось просто расплыться в кресле. Позвонила Наташке – обменяться дневными новостями. Из трубки пополз в ухо приглушённый низкий голос. Там, вероятно, уже спали. Только начали, как обычно, ля-ля-ля... да свой новый стих ей прочитала, про любовь, конечно, и вдруг:

– А помнишь Ипполита? Умер. Я тебя тогда предупреждала. Умер, завтра похороны...

Да, Наташка предупреждала: бабники они все, художники, – бродники, шатаются от одной к другой. Не муж, не опора, потратишь с ним время зря, себя скомпрометируешь – и всё. А добьётся своего – так и изыдет. Смотри, и цветы будет дарить, и руки-ноги целовать, и самоубийством угрожать. Подумаешь, какой костёр разведёт... Предупреждала... Почему замужние бабы думают, что имеют право в нашу жизнь вмешиваться: ты ей стихи читаешь, только что сотворённые, но это же не обязательно о себе... а тебя предупреждают, остерегают, поучают...

Однако, почти всё и совпало: и руки целовал, и ноги пытался целовать, вот на этой кухне. И смотрел так, что и сама себе нравилась: неужели я такая, что так можно любить, любоваться? И цветы приносил, о самоубийстве только речи не было. Подойдёт, понюхает волосы – глаза напрягутся, засверкают, взгляд отяжелеет. Саму так и прошибёт.

– Сядь, – скажу строго.

Отвернётся к этому вот окну, пересилит себя, сядет в свой угол. Дальше чай пьём. Только говорил, что такое было у него два раза в жизни: когда-то, в юности, – и вот сейчас.

Удушливо горели свечи.

Он исхудал, чёрные глазницы провалились, но черты лица были также резки: покатый лоб, нос с горбинкой, скулы, только седой весь – и волосы седые, и борода.

Старушки в углу комнаты молятся, читальщица читает. Вокруг – люди, родные и разные, на недолгое время подсаживаются ко гробу.

Крупная, совсем расплывшаяся женщина, Вера, жена, – давно её не видела, – иной стала... сразу бы и не узнать... Взглянула холодно, с неприязнью, кивнула сидящему рядом высокому молодому мужчине, сыну, Борису. Он поднялся, протиснулся к ней, к Татьяне.

– Здравствуйте, пойдёмте. Надо вам что-то показать.

Повёл её вниз, в мастерскую.

Сколько она сюда тайком пробиралась, с обратного входа, когда жена была по командировкам! Как сердечко-то у тебя, барышня, билось,

как новым, таинственным, сначала пахло, а позже-позже – всё горечь, полынь.

Борис указал рукой на картины, по стенам развешенные, по углам, на полу расставленные...

– Посмотрите и уходите. Маме и так тяжело. Это отец давно написал. А перед смертью сказал, чтобы вам показать.

Поозирался как чужой, как в чужом помещении.

– И ту посмотрите, под покрывалом.

Ушёл.

На всех полотнах была нарисована женщина с её, Татьяниным, лицом. В голубом платье – у воды... В светлом – на солнечном просвете... Это когда в лес ездили, на поляне... Журавли где-то курлыкали... В каких-то древних доспехах, воительница... на коне белом, с мечом... Такую хотел, молодую, яростную, летящую... Насочинял, бедный... Какая ж я, с моими русыми волосёнками, валькирия...

Откинула покрывало с большой картины. Она, обнажённая, стояла в проёме двери из зала в какой-то сумрачный коридор. Дверь наполовину приоткрыта, на двери, на плечиках, её любимое платье, длинное, праздничное, бархатное, тёмно-фиолетовое.

Она была именно той, сорокалетней, морщинки уже обозначились, но чуть-чуть, и живот чуть-чуть обмяк... Ему нравилось, любил телесное, когда женщина в переломе, на грани своих женских миров... Тогда она была другая, чем в разгар любви с ним... До него худая была, нервничала, давно ни с кем не жила...

Позади... в глубине коридора... мужчина, сливается с фоном. Присмотрелась. Он, совершенно, – тот, что лежал сейчас там, наверху, – исхудалый, с обострённым лицом, седой, и борода седая, только глаза, чёрные, сияют его огнём, напряжённые... Такой взгляд был у него уже потом, когда сблизилась, когда он разгорелся, когда ему было уже не приказывать сесте, успокоиться...

И ещё позади... чернота, с уходящими вглубь фонарями. Любил он эти линии городских фонарей... В свете фонарей – первый мягкий лёгкий снег... И снег он этот, первый, любил...

Под сенью крыл твоих, о мой любимый... Свет мраком тьмы... Перелюби меня, перецелуй... перелюби меня, переголубь... Излюби меня, всю излей... Как волшебник – струйный водолей... Всю твою нелёгкую судьбу... Жалко мне тебя... Выхвачу из ножен острый нож... Сладостно замрёшь... Мало ли на свете одиноких дур... Мало ли на свете дураков... Бродят бродники между кустов... можжевёловых, льняных, чёрных, белых, золотых... А кому всё это надо – никому... Только мне как сумасшедшему в аду... Одинокие мы люди... в ночи – глас... Высший свет над всеми нами... не погас.

ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО

Целовались до боли в губах. Как пришли с танцплощадки, как остановились недалеко от моего дома, в тени клёна, прячась от дурацкой луны, как припали друг к другу.... Знаешь, как в юности целуются, до одури.

Я стою в его руках, расплылась, а материны слова помню.

– Смотри, Любовь, – сказала она мне как-то, увидев мои губы, – чтобы всё у вас было по-людски. Не опозорь нас с отцом.

Помню, а сама чувствую: обморочно слабею, да он ещё впился в шею, потом прячь это пятно ото всех. Вырвалась я, убежала.

Отдышалась в сених, пробралась к себе, растворила окно. Знаешь, будто сейчас вижу ту лунную ночь: палисадник наш, жасмином пахнет, заборчик, улица, окна в соседних домах, шиферные крыши... всё как серебром залито, мерцает, переливается...

Выглянула, в тени клёна красная точка... Думаю: стой-стой, кури-кури... Погордилась так. Была я девушка ранняя, многие за мной ухаживали.

Потом засыпаю сладко, в лёгком головокружении и слышу:

– Ну... ну...

Знаешь, это хриплое, мужицкое.

И мамин шёпот:

– Не надо, не можется мне, да и самые зачаточные дни, Ваня.

И удары, глухие, в мягкое.

Залезла я под одеяло с головой да подушку на ухо. А в своём доме какие перегородки между комнатами, здесь, в панельных, и то всё слышно, а там – дощечки. До самой его смерти не могла простить ему такое.

С тем парнем у меня что-то не сладилось, потом с другим, с третьим. Наконец, уже взрослой девушкой, здесь, в городе, полюбила. Когда после свадьбы мы остались одни и он приступил ко мне, я со страхом впустила его, а сама слышу себя, что шепчу:

– Только нежно. Люби меня нежно.

В ту ночь он пересилил себя, а через год меня просто возненавидел и бросил. Скоро я родила, больше на мужиков не взглянув.

На кухню вбежал мальчик, стрельнул глазками по коробке конфет.

– Можно, можно, – сказала она, – последнюю, ладно?

Дала маленький шоколадный кирпичик.

– Ух ты, зализанный мой...

Потрепала курчавые светлые волосики. Глаза мальчика заискрились, он потянулся к ней, припал к щеке губами.

– Всё, всё. Беги во двор. А мы с тётей поговорим. Да смотри, играй там с девочками, они нежные.

ВОЙДИТЕ

– Войдите!

Она открыла дверь. Как всегда, ахнула и побежала в свою комнату. В проёме двери стоял он, высокий, черноволосый, с седыми усами, в белом шикарном костюме.

– Саша, встречай гостя, проводи в зал.

Она быстро переделалась, взбила чёрные волосы, забежала в детскую, наказала дочери и сыну не высовываться, у нас гость.

– Как моё новое платье?

Кружась, взметнулась перед мужчинами крепдешиновым, тёмно-бордовым в белый горошек простеньким платьем, обнажив стройные ноги, уже обутые в блестящие белые туфли.

– Саша, что ты в майке, рубашку надень, ведь у нас гость.

Саша, худой, беловолосый, в жёлтой мятой майке, вышел.

Она, маленькая, тонкая в талии, блестя влажными карими глазами, шагнула к нему, протянула руки, ладошками вперёд, как прося милостыню:

– Войдите... войдите же...

Он грустно улыбнулся.

Вошёл Саша.

– А уж в штанишках я этих останусь, ага? – сказал, указывая взглядом на выцветшее, растянутое на коленках спортивное трико.

– Телевизор посмотреть, что ли.

Включил телевизор.

– Саша, доставай бутылочку. Я скоро. Будем ужинать.

Когда она бегала на кухню, мужчины молча смотрели телевизор, когда и сама подседа к столу, они заговорили о бензине, запчастях, инфляции.

Время от времени мужчины выпивали по рюмке водки – за хозяйку, и опять за хозяйку. И опять. Она убегала в свою комнату, доставала из глубины бельевого ящика фотокарточку черноволосого мужчины с седыми усами, целовала её, плакала, бежала в ванну подкрашиваться. Взволнованно-весёлая, возвращалась к мужчинам.

ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!

В тот предвечерний час сидел он позади осырка, на лавочке у сарая и курил. Знаю я, бывал там, видел – пейзаж оттуда, со склона холма, открывается удивительный: поля во все стороны, кое-где зелёные островки деревень, над горизонтом золотой крестик дальней церквушки осияет эту благословенную местность.

По вечерам за церквушку склоняется солнце, розовеют полосы облаков. Внизу, по золотой ниве, уже покрытой тенью, ползают взад-

вперёд комбайны, вокруг них бегают грузовички. Крестьяне собирают хлеб.

Помнится, в такую пору стоишь на склоне того холма, вбираешь в себя – и глубоким вздохом, и взглядом, и утомившимся за день телом – вечернюю прохладу и всю красоту неопишемую, так хорошо на душе, так покойно, так молодо, что чувствуешь: только бы жить да жить, только бы дал Господь ещё хоть немного, хоть чуточку этого – большого, радостного. В такое ли время думать о чём-то мрачном, тем более – о смерти.

Но как раз о смерти думал Михаил. Вряд ли он так вот думал, напрягал мозги. Он просто сидел и курил, трясущейся рукой подносил цигарку к губам, быстро затягивался и резко выдыхал, будто выплёвывал, а глаза глядели куда-то внутрь себя, неподвижные.

Описать, что чувствовал тогда Михаил, невозможно. Во-первых, потому что этого нельзя делать, грех переносить такое из одной души в другую. Во-вторых, потому что сам Михаил не помнил того состояния своей души. Помнил, что много курил, зараз целую пачку. И выдыхал, как плевался, будто хотел весь мир вокруг задымить. Не случайно староверы говорят: курить – бесу служить. Вот Михаил нечистому и курил фимиами. Последнюю цигарку затушил грязной пяткой и пошёл в сарай вешаться.

Был тогда Михаил, насколько я помню, высоким молодым мужчиной, светловолосым, голубоглазым, а по осени, после разных деревенских работ, вообще льняным, и глаза будто светлели.

Городское его житьё пошло сикось-накось, причём, по всем статьям – и на службе, и с квартирой не получалось, и с женой. Приехал вот помочь матери, немного забылся – сенокос, огород, ремонт избы. Вроде успокоился. А как жена с дочерью приехали, так в первый же день и поругались. И шепнула она ему, как это уже часто было в городе, что он пьянь, псих и, вообще, гад.

И пошёл к чёрту, чтоб глаза мои твою рожу опухшую не видели и зенки твои белые.

Вот он и пошёл, чтобы уж разом от всего избавиться – и от своей любви к этой ведьме, и от своей ревности, и от постоянных пирушек с друзьями, и от вечных перетаскиваний жёниного идиотского огромного шифоньера с квартиры на квартиру.

Не то, чтобы Михаил сознательно выбрал такой вариант, такой конец жизни, а нервы сдали, затрясло. И всё, и конец.

Вдавил в землю окурок и пошёл в сарай. Взобрался на дровяник, привязал верёвку к стропилам, попробовал – крепко, выдержит.

Накинул петлю на шею. И тут солнышко, что ли, пробилось своим последним лучом сквозь щёлку сарая, перед ним будто пелена приподнялась. И увидел он лохматую морду, синющую, мёртвую. Один глаз маленький, красный, а другой не видно, залеплен солнечным зайчиком.

Михаил испугался, прошептал:

– Господи, помилуй!

И прыгнул.

Всё это он прекрасно помнил. Морда сморщилась, красный глаз порозовел, ярче зажёгся. А он испугался, что-то встрепелось внутри, видимо, из детства, когда мать водила его в ту дальнюю церквушку. И будто само прошепталось:

– Господи, помилуй!

Прыгнул, поджав под себя ноги. И больно ударился ими о землю.

Он долго лежал и смотрел, как в солнечном лучике качался обрывок верёвки. Не мог понять, что произошло, шею даже не сдавило, а верёвку, как бритвой, срезало.

Когда он вышел из сарая, тяжело ступая зашибленными ногами, вокруг уже была почти ночь. Внизу, в долине, всё ещё жужжали комбайны, мелькали огни машин. Крестьяне спешили собрать хлеб.

РАБ БОЖИЙ, НАШ ИОАНН МИХАЙЛОВИЧ

Что ещё за фамилию спрашиваешь? Много стариков: Иван-купец, Иван-кузнец, Иван-крестьянин, Иван-христианин, – всё один Иван-Иоанн.

О нём, об Иоанне Михайловиче, только то достоверно известно, что как он пришёл к нам, так его по всему нашему краю прятал у себя народ. Вот ведь он какой был, наш Иоанн Михайлович, предчувствовал, знал наперёд. И народ оболоч Иоанна Михайловича.

Как это и слов-то вы своих родных не знаете? Оболочать, ну прятать, что ли... Бок о бок живём, лес обок поля.

Схоранивала и я его, Иоанна Михайловича. Все правила – и утренние, и вечерние, и праздничные – с ним читали. Бывало, спрашиваю его:

Что за напасть? Отколь изошла эта власть?

Горюю так, печалюсь, жалеваюсь ему. Разе легко нежённой жить в такие-то лихолетья? Что за неведомая сила? Отколь пришёл этот плешивый антихрист?

– Они хотят обобщиться во всём мире.

И так ведь мягко ответил. Не то, что сейчас... какой угрюмый человек стоит, не знаешь ведь, как подступиться. Какие-то роботы, заведённые на брань и грубость, ну чистые роботы, не разумеют, кто перед тобой.

– Вот везде этого истукана наставили, так и беда за бедой рушатся на наши головы.

– Да, погибнете, говорят нам, и возродитесь уже другим народом, без всяких вредных ваших мыслей. А то все люди как люди, а вы на особицу, да? Избранные, рабы Божии?

У нас же всё отобрали. Не пусти нас завтра в магазин, через день-другой всю рухлядь продадим, а к концу месяца пухнуть с голоду станем. Моего деда попробуй было сдвинь, да у него на год наперёд в амбаре было, только круп двенадцать сортов.

– Веками крестьяне бились за землю, за волю – и вот землянина от земли-то и отлучили.

– Все мы Иоанны Заточные, то есть пустынники, глухие, ссыльные.

– Да ведь не было такого, чтобы простому люду жилось хорошо. Что же мы ищем своё языческое Беловодье, поддаёмся на обман бесовской. Сказано ведь: “Ищите царства Небесного. И правды его. И остальное всё приложится вам”.

– Скоро выживет и сохранит душу только тот, кто живёт с верой в Бога.

Так он говорил, наш Иоанн Михайлович.

А какой был печальник! Встанет на молитву и молится до утра, и жалобится, и просит у Бога милости для всего рода христианского.

* * *

Случилось со мной невиданное. Притомился в пути, разморило, а тут, на погосте, сел на лавочку, облокотился на столик, тень, ветерок свежий подул, я и заснул.

Будто заплутался я в лесу, иду наугад, творю Иисусову молитву, еле иду, затамился совсем. А будто я уж и старик.

Вдруг слышу пение церковное, пошёл на голоса. Плохо было уже идти, сумерничает. Вижу: редко огоньки мелькают. А на сердце так давит, так сердце беду чуёт.

Подхожу, выглядываю из-за дерева, а там, впереди, поляна, стоят батюшки, священники, в рясах своих, с большими белыми бородами, кто на коленях стоит, кто в руках свечи держит, кто свечи на землю впереди себя поставил.

Смотрю – а Господи! – наш ведь батюшка, Покровский, отец Владимир, и он тут же. Позади-то батюшек яма. А в стороне, близко от меня, стоят вражины. Это они, значит, сюда со всей волости батюшек согнали. Стоят, курят.

А батюшки поют, молятся. Лес вокруг, тишь, лист на берёзе не шелхнётся, замерло всё, темень уже. И свечи, чуть лица видны и седые бороды.

– Пора гасить, – докурив, сказал главный их вражинник.

Выхватил наган и выстрелил прямо в свечу отца Владимира, а свеча-то у сердца. И другие стали в свечи стрелять, в батюшек. А те поют, кто уж и в яму валится.

Прости им, Господи, не знают, что творят... Прими, Господи...

Волосы на мне дыбом встали, я и побежал, прибежал к себе, забрался в бане на полог, там и молился до утра. После этого и сам седой стал.

Не то сон это, не то быль – понимайте, как душе вашей угодно. Вот и брожу по Руси, и говорю вам: “Ищите царства Небесного. И правды его. И остальное всё приложится вам”.

Спрятался народ, в Иоанне Михайловиче сосредоточился. И оболочка Ивана Михайловича.

* * *

Бабушка, рассказчица, долго развязывала какие-то тряпочки...

– На, в тяжёлое время помолись перед этою свечечкой. Та это свеча, та, от Иоанна Михайловича, от отца Владимира. Быль это была, истинная быль. Иоанн Михайлович, когда пришёл в себя, не следующий день пробрался туда, в лес. Все свечки расстрельные собрал, народ благословлял ими. Да зажигай-то на чуть-чуть, чтоб долго она у тебя была. Может, сыну своему передашь.

БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ

Пришёл рано, за полчаса, было совсем немного минус градусов, но я нарядился уже по-весеннему, без поддёвок, идти в здание автовокзала лень, разместил рюкзак на скамейке, опёрся на свой длинный, по плечи мне, посошок и стою, воображаю, что мне тепло.

Налево от меня, метров сто, здание автовокзала, от него крытая сверху, с опорой на каменную стену позади меня, платформа, впереди – площадь с автобусами. Серёдка дня – и автобусов мало, и людей почти нет. Скамейки, что тянутся вдоль стены, длинные, недалеко от меня на одной мужик спит, видимо, пьяный, на другой – женщина, тоже пьяная, без сапога на правой ноге.

Мужик просыпается и начинают они с женщиной переругиваться.

Мужик: – Молчи женщина, твой день – восьмое марта... С кем бы подраться... Молчи, женщина...

И мне: – А ты чо, мужик, так смотришь...

Потом пригляделся ко мне: – Ладно, прости, батя...

А женщина не унимается – мат-перемат ему в ответ. И вдруг из этой словесной помойки звучит: – У меня нога мёрзнет, пожалел бы.

И вот это, человеческое: пожалел бы – смягчило меня, улыбнуться заставило.

– Дай, батя, сигарету... – подходит мужик ко мне.

– Ты сколько выпил, Валера? – спрашиваю, так его женщина называла. – Судя по тому, как тебя штормит, бутылки две, да ещё без закуси.

Разговорились. Оказалось, сколько выпил – сколько, сколько? – “много”, едет в ту же сторону, что и я. Живёт в деревне недалеко от моей.

– Валер, мы с друзьями тоже можем выпить, в субботу после бани, но, слушай, у нас зарок: на следующий день не опохмеляться... Опохмеляться – это опять пьянка. А запой у тебя долгие?

– Могу, – говорит он и улыбается, как будто это достижение, – неделями могу... Работы нет... чо делать? Только водку пить...

Смотрю, а мужику от силы лет тридцать пять и глаза у него светлые, трезвые.

– А что твоя женщина без сапога? Замёрзнет.

– Без сапога? Да? – смотрит удивлённо. – Куда делся? А мне на неё...

А она...

– Валера, там вон... у магазина, в мусорнике, я видел башмаки мужские, принеси.

– Она мне чо, жена или сестра? У неё мужик есть.

– А если доброе дело сделать? Она ж просила тебя пожалеть её.

Помялся-попереминался с ноги на ногу, пошёл.

– Женщина, – подхожу к ней, – сейчас ваш товарищ башмак принесёт.

– Да нет, – говорит. – У меня каблук сломался, муж пошёл чинить.

Женщина, как и Валера, средних лет, волосёнки светлые, растрёпанные. Она старается держать себя спокойно, даже как-то с достоинством: муж пошёл чинить, заботится о ней, жалеет.

“Чудо-чудное, диво-дивное, – думаю про себя, – загляни-ка в чело-века, человек же внутри”.

Валера идёт через площадь, несёт один башмак, именно правый.

– Ты что, издеваешься, – кричит женщина. – Буду я такое надевать...

Подходит мой автобус. Я еду на дачу, читать умные книжки, писать умные, а может быть, глупые, никому сейчас не нужные статьи – о русских колыбельных песнях: баю-баюшки-баю... не ложися на краю...

РОДИНА

Ох и гордыня в душе... Или стеснение какое-то ложное? Выходил от неё – было в душе: поклониться до земли, спросить благословения. Но нет – спасибо, всего доброго – и ушёл.

Да и что, собственно? Старушка как старушка, напела нам, собира-телям фольклора, три тетрадки песен.

Сидит под образами, маленькая, худенькая, лицо спокойное, правильное и голос благородный. И поёт. И вечер, и второй, и третий. А между песнями просто о жизни рассказывает – о коллективизации, о войне, о сселении, о трудоднях, о детях, что разлетелись по всему белу свету, о сенокосе, об огороде... Советует на святой руцыйёк сходить. Так она мило цёкает.

– Помирать пора, – говорит, – да я чтой-то ещё ровно и не наработалась.

Господи, дай сил так жизнь прожить и так сказать в старости!

АЛЕКСАНДР КОНАКОВ

С ДЕДУШКОЙ В ЦЕРКОВЬ

Рассказ

С гордостью, оглядываясь по сторонам, иду я со своим прадедом по селу. Идём мы в церковь, которая довольно далеко - на другом конце села.

Меня буквально распирает от радости, что я шагаю со своим любимым дедушкой.

Он идёт – высокий, прямой, и тоже, наверно, как я, гордый, что рядом с ним, держась за руку, шагает такой замечательный правнук. Я думаю, что все видят, изо всех окошек разглядывают меня, ведь на мне не лапти, как обычно, а настоящие кожаные ботинки и брюки, не домотканые, из холста, а чёрные, суконные. Рубашка на мне тоже фабричной выделки.

Я первый раз в своей жизни надел такие прелестные вещи. На днях дядя Андрей, брат моего папы, приехал из Иванова, где он работает, и привёз мне такие подарки. Это ничего, что брюки очень толстые и грубые, зато они сшиты из сукна, которое подкладывают под лошадиные сёдла.

Я не видел ещё в своей четырёхлетней жизни, что это за сёдла, но, всё равно, это не обычное сукно, как у мамы на шубе, а твёрдое, наверно, мужское. Я сравниваю свою одежду с дедушкиной, и остаюсь доволен. Дедушка в светлых, пахнущих дёгтем сапогах, в длинном, чёрном кафтане, в высокой, тоже чёрной фуражке, а на груди у него кресты на красивых ленточках. Я не помню, там два или три креста, которых он называл «георгиями», но вид у него строгий и торжественный.

Со стороны, наверно, интересно смотреть на высокого стройного старика и очень маленького, чуть повыше его колена, правнука. На чёрном фоне кафтана и фуражки блестят кресты, и развивается светлая, как серебро, пышная борода.

Встречные, мужики и бабы, с почтеньем здороваются с нами, мужчины снимают картузы, а бабы платков не снимают, но кланяются очень

низко. Я всё время слышу: «Здравствуйте, Панкратий Иванович!» и удивляюсь, как они не замечают меня, такого нарядного.

Почти у самой церкви встречается нам старик, и, поздоровавшись с дедом за руку, обратил внимание на меня:

- Что, Панкратий Иванович, в церковь с внуком? Это чей же такой нарядный?

Дед наклоняется ко мне и сообщает: «Правнук, Гришкин сын, а отец у него воюет, вот мы с ним и идём помолиться. Трудно ходить-то обоим, далеко, ну, да мы потихоньку, правда, Сашка?» Я молча киваю головой, соглашаюсь, что трудно, и что потихоньку дойдём.

С дедушкой в церкви много интереснее, чем с мамой. Когда мы один раз ходили с мамой, то стояли где-то сбоку, посредине церкви, и я ничего не видел, кроме ног тётенек и бабушек. Да вверху светилась большая красивая лампа, на которой горит много толстых красивых свечей. А когда все становились на колени, я видел впереди блестящие иконы и золотые двери, а на большом кресте висел человек, очень печальный и голый.

Мама мне объяснила, что это Христос, и он распят, хотя не объяснила, что это такое и зачем. Потом она меня проводила на улицу и велела ждать её и никуда не уходить.

Совсем не интересно, и всё непонятно. Другое дело – с дедушкой, георгиевским кавалером. Мы пробрались в самые первые ряды и стали немного в левую сторону. Теперь мне всё видно: как поют певчие, как выступает поп в своей нарядной одежде без пуговиц, как он машет кадилом, и оттуда идёт дым. Сначала тихонько поёт чего-то поп, непонятно и тихо. Потом очень громко, даже свечи начинают мигать, запел дьякон, а потом вдруг дяденьки и тётенки в хоре так закричат громко и, очень интересно, дяденьки – грубыми голосами, а тётенки – тоненькими и печальными. Кругом горят свечи, блестят иконы, и все люди крестятся и кланяются.

Когда шли домой из церкви, солнце было уже высоко, и идти было жарко. Дедушка посадил меня на завалинку около какого-то дома и снял с меня новые ботинки. Как приятно чувствовать ногами тёплую, мягкую землю, и идти становится легче и интереснее.

ИСТОРИЯ НАШЕЙ СЕМЬИ

Я очень хорошо помню своего прадедушку, Конакова Панкратия Ивановича, который жил до 90 с лишним лет. Он служил в армии 25 лет рядовым солдатом, до самой смерти носил военный кафтан, и в нём же вместе с георгиевскими крестами был похоронен примерно в 1919 или 1920 году.

После службы в армии работал он охранником в Н-ском лесничестве. За георгиевские кресты получал несколько рублей, и никогда не забывал купить что-нибудь для меня. Не знаю, любил ли он своего внука, моего отца, который был в Красной Армии, но меня, своего правнука, очень любил и никому не давал в обиду. Если кто-то из семьи или из моих сверстников на улице обижал меня, он буквально кипел и на домашних кричал на весь дом: «Не смейте обижать! Иди ко мне, Сашка». А если обижали ребята на улице, он, бывало, высунется из окна и голосит на всю улицу: «Вот я вас, сволочные головы»!

При нашем доме в Илькине был хороший сад, видимо, посаженный им. Таких хороших садов в Илькине я не видел. В саду росли и плодоносили несколько сортов яблонь, «китайка», груши, сливы – красная и чернослив, терновник, крыжовник, малина. Даже по теперешнему уровню приусадебных садов, это был очень хороший сад.

Дедушка Панкратий аккуратно ухаживал за садом, несмотря на свой преклонный возраст, и меня всё время брал с собой. Мы вместе с ним часто ночевали в саду в небольшом шалашике, который был построен там для охраны от мальчишек, озоровавших в садах. Часто во время ночлегов в шалаше дедушка прижмёт меня к себе и шепчет: «Слушай, Саша, я расскажу тебе бывальщину». Я не помню, чтобы он рассказывал мне сказки, а вот бывальщину рассказывал, и всё: «Запомни про солдатскую жизнь».



Пётр Сергеевич Наумов



Мария Николаевна
Конакова



Александр Григорьевич
Конаков

Мне было 3-4 года, когда прадедущка начал подготовку к своей смерти. Когда все взрослые уезжали в поле на работу, он звал меня во двор и говорил: «Пойдём, Саша, делать домовину». Во дворе стоял амбарчик, совершенно пустой, размером в 4-5 кв. м, крытый щепой, и в этом амбарчике прадед устроил своеобразную мастерскую, в которой он готовил долблённый, из целого дерева, гроб. В углу амбарчика стояла отдельно большая колода, крышка к ней и крест.

Когда мой прадед умер, его положили в этот гроб, и его с трудом несли 8 мужчин на полотенцах, настолько он был тяжёлым.

До сих пор я помню этого милого старика, внимательного и ласкового ко мне и к моей матери.

Мой дед, Конаков Иван Панкратович, работал в это время лесным сторожем, и почти всё время находился в отлучке в лесной сторожке Таланово. Это километров в 10-12 от села Илькино. Когда он приходил домой, то очень дружелюбно играл со мной. Бывало, принесёт кусок хлеба и говорит: «Саша, посмотри-ка, в моей сумке тебе лисичка подарок прислала». Расстегну кожаную лесниковскую сумку, посмотрю, а там хлеб.

- Дедушка, а там хлеб, как же лиса достала хлеба?

- Достала, коли прислала, знает ведь, что у тебя нет хлеба. Только смотри, откусывай понемногу. Это особый хлеб. Откусишь с воробья, а дожуешь с ворону.

Хлеб этот был испечён с примесью молотого проса, и действительно, когда жуёшь – полон рот шуршащего месива.

Очевидно, это было в 1920-1921 годах, когда жилось очень тяжело, поэтому кусок хлеба был тоже подарком, да ещё каким.

После того, как дедушка Иван ушел из лесной охраны, он сапожничал на дому. Чинил кожаную и валяную обувь всем, кто в этом нуждался.

А вот что из себя представляла семья, в которой я жил, и хозяйство.

Дом старый, размером около 40 кв. метров, покрыт щепой, крыша сверху закреплена долблённым коньком. Рядом с домом двойные ворота для проезда лошадей и для пешеходов. К ним примыкала небольшая амбарушка, в которой прадедущка делал себе домовину. Сразу за домом – крытый двор с сушилками для сена. За домом – сад, примерно соток 10, затем на 250 метров в длину и метров 60 в ширину тянулась усадьба. На ней тоже 2 строения – амбар для семян и «сельница» для кормов, а сразу за ними крытый ток.

В хозяйстве имелась взрослая лошадь по кличке Картина и кобыла-трёхлетка. Была корова, несколько овец и куры.

Вскоре после смерти прадедущки оставались: глава семьи, мой дедушка Иван Панкратович, бабушка Агафья Петровна, моя тётя, Аксинья Ивановна – 17-18 лет девушка, моя мама Анисья Петровна и я. Мой отец, Конаков Григорий Иванович, находился в Красной Армии. У дедушки и бабушки были ещё дети, жившие отдельно. Сын Иван работал в пожарной

охране города Меленки, там же и погиб впоследствии. Сын Андрей жил где-то в Иванове или около него и работал кучером. Дочери - Мария, Анна и Анастасия - жили своими семьями и имели своё хозяйство.

Что же я знаю и помню о своем отце? Он был мобилизован в царскую армию в 1915 году, вскоре после моего рождения. Запомнился его первый приезд домой, уже после революции. Мне, видимо, было около 3 лет. Он подарил мне военную фуражку, сделал деревянную саблю и ружьё, и я стал командиром среди своих сверстников.

Лицо его не запомнилось. Ростом был высокий, стройный, очень энергичный, весёлый.

Я один раз ездил с ним в поле за гречихой, видимо, это было в августе. На другой день мы с ним ходили в табун за лошадьё. Когда вели лошадь домой, то он вёл её в поводу, а я сидел на лошади. Помню, подошли к загороженному переулку. Отец вручил мне поводья, оставил меня на лошади, а сам пошёл открывать ворота. Лошадь решила поесть травки, нагнула голову, а я держал её за поводья, ну и съехал под ноги лошади. Ушибся, конечно, заорал. Папа взял меня на руки и до дому нёс на руках. Как уехал потом, и где воевал, не знаю. Очевидно, на другой год, весной, отец приехал снова. Не знаю, по собственной ли инициативе, или по поручению военкомата, он обучал военному делу молодёжь. Или это были мобилизованные, или добровольцы, но видел, как он с ними занимался (командовал) несколько раз. Видел, как они ходили строем, пели песни. С этой группой подготовленных им людей он и уехал на фронт.

Больше я отца не видел. По рассказам его друзей и моей мамы, отец с первых дней революции вступил в Красную Гвардию и в 1919 году погиб на Деникинском фронте. Точных сведений, где и когда погиб мой отец я, будучи уже взрослым, так и не смог отыскать. Его товарищ, Новоженин Василий Капитонович, был очевидцем его гибели и кое-что мне рассказал.

Воинская часть, где командиром роты был мой отец, обороняла населённый пункт (какой, я не помню). В это время и встретились мой отец и Новоженин, они оба были родом из села Илькино. Новоженин сказал отцу, что нависла угроза окружения, а беяки беспощадно расправлялись с красноармейцами, и что такими силами село не удержать, надо уходить.

Отец заявил ему, что он командир роты и имеет приказ держаться во что бы то ни стало, и он никуда не пойдёт, только вот ему не нравятся некоторые бойцы, уж очень недисциплинированные.

Новоженин был во втором эшелоне при хозвзводе, и как только положение осложнилось, хозвзвод вскочил на лошадей и ускакал. С пригорка якобы видели, как конники Деникина окружили подразделение отца и начали расстреливать красноармейцев.

Он говорил, что командиров и комиссаров убивали в первую очередь. К сожалению, мне было лет 8-10, когда я беседовал с Новожениным, и я

не сумел выяснить и запомнить детали гибели своего отца.

После того, как мы узнали, что отец погиб, маме и мне стало плохо жить в семье отца. Моя тётя Аксинья вышла замуж, и они с мужем стали жить в нашей семье. Маму стали обижать, и мы вынуждены были уехать в соседнюю деревню Осинки к отцу моей матери Наумову Петру Сергеевичу. В этой семье я жил до 1932 года.

Мой дедушка по матери Пётр Сергеевич Наумов пользовался большим авторитетом в деревне. Это был хороший культурный землевладелец-крестьянин, охотно подхватывающий все новинки сельского хозяйства. Это был человек с золотыми руками, все умеющими делать и никогда не знавшими покоя и лени. Замечательный умелец, экономный хозяин, большого ума человек, хороший воспитатель, человек высокой сознательности и большой наблюдательности, он завоевал моё глубокое уважение и любовь, оказал огромное влияние на моё дальнейшее развитие.

Моя бабушка по матери – Мария Фёдоровна Наумова (Солонина) родилась и жила всё время в деревне Осинки Меленковского района Владимирской области. Трудлюбивая хлопотунья, незаметная и внимательная, с большой любовью относившаяся к нам, внукам, - такой я запомнил свою бабушку.

У дедушки и бабушки было 3 сына и 4 дочери. Сын Василий – товарищ полкового комиссара, погиб в рядах Советской Армии. Сын Иван погиб в рядах Красной Армии при ликвидации кулацкого мятежа в Рязанской губернии. Сын Дмитрий умер в возрасте 21 год - простудился, когда ходил на призывной пункт, болел долго плевритом и желтухой.

Осенью 1922 года я пошёл в школу. Вернее, начал учиться я в с. Илькино, а потом, когда переехали в Осинки, я пошёл учиться в Осинковскую начальную школу. В связи с тем, что я жил у дедушки Наумова, меня и записали в школе как Наумова Александра. В деревне меня и сейчас помнят как Сашку Наумова, а не Конакова, каким я стал только, когда пошёл учиться в Меленковскую (районную) среднюю школу.

Мама в это время работала на Меленковском льнокомбинате ткачихой и одновременно занималась и сельским хозяйством. Землю, наделённую в с. Илькино на 2 человек (два едока), обрабатывали, в основном, дедушка Наумов П.С. при непосредственном участии мамы и, посильно, моём участии.

Когда в семье возник вопрос о моей учёбе, мама заявила, что это не для нас. Надо строить дом в с. Илькино, а денег нет, не до учёбы, и быть тебе не писарем, а пастухом и зарабатывать хлеб. Слезы мои не помогли и настойчивость учителей тоже. Но я не бросил мечты о дальнейшей учёбе и ещё два года ходил в 4-й класс, последний год уже как «вольнолушатель».

В 1928 году моя настойчивость, деятельная поддержка дедушки и особенно его друга Катина Василия Самуиловича, сломили сопротивление

ние мамы, и я успешно сдал экзамены в среднюю школу. Учился там до марта 1932 года. Учился успешно, но тревожила мысль, что я не помогаю маме, кроме летних каникул.

Когда по инициативе комсомола, в связи с острой нехваткой учителей начальных классов были открыты 6-месячные курсы подготовки учителей, я решил поступить на эти курсы. Из трёх параллельных групп 7 класса было отобрано 40 человек наиболее успевающих учеников, и начались занятия по изучению педагогики, психологии, педологии и других необходимых знаний. Одновременно продолжалась программа 7 класса.

Нагрузка большая, да ещё летом, когда все отдыхают, но зато стипендия 40 рублей – чуть меньше маминой зарплаты.

В конце августа 1932 года я получил удостоверение учителя начальных классов и был направлен зав. Двойновской начальной школой. Вместе со мной прибыл Карташов Федя – тоже выпускник этой школы.

Двойново – глухой угол Меленковского района, но всего в 6 километрах от моего родного села Илькино, где были сильные, опытные учителя и семилетняя школа. Помню вечер в селе Двойново. Недалеко от квартиры, где нас двоих устроили на жительство, вечером, прямо на улице показывали кинокартину. На амбаре повесили белое полотно, вместо лавочек – лужайка, и кинопередвижка начала свою работу.

Мы с Федей встали в стороне. Ещё не совсем стемнело, и жители, особенно молодёжь, заметили «чужих». Начинается шушуканье: «Кто такие»? Кто-то отвечает: «Учителя!» – «Ха-ха-ха, – вот так учителя, их самих ещё надо учить!»

На другой день с тяжёлым настроением идём искать школу. Оказывается, никакой школы нет. Есть два дома. Один из них старый – бывшего попа, и, напротив, через улицу – кулацкий пятистенный дом. Никаких документов нет, нет даже сторожа в школе. Отправились в сельсовет. Никаких документов нет и там никто не знает учеников, кто учился, в каких классах, кто переведён, а кто – нет.

Собрали по объявлению через уполномоченного сельсовета путём предварительного обхода бывших учеников. Спрашиваем: «В каком классе был в прошлом году»? Не спрашивая об успеваемости, зачисляем в следующий класс. Я беру себе два класса – 2-й и 4-й, а Федя Карташов – 1-й и 3-й.

Проверяю учеников 4-го класса. Делаю ведомость с демографическими данными и устанавливаю, что большинство из них мне ровесники. Мне 17 лет, им тоже. Парни такого роста и физического развития, хоть в армию отправляй. Сформировали группы, а делать не знаем что. Нет программы, нет учебных планов, нет учебников. Районо – за 15 километров.

Пошли за помощью в Илькино. Спасибо, учителя помогли, дали скопировать планы на 1-ю четверть, несколько учебников, немножко

мела. В магазине купили через сельсовет тетради, ручки, карандаши, чернила. Первого сентября занятия начали вдвоём. С утра и до обеда - 1-й и 2-й классы, с обеда - 3-й и 4-й. В одном здании - я, в другом - Фёдор Петрович. На оба здания одни часы-ходики. Расписание уроков составили на неделю, но идёт пока проверка знаний. Установили, что ученики значительно отстают от нас в науках, которые изучали.

Через два месяца прибыл «заведующий школой», который и не нюхал основ педагогики, образование 7 классов, но опытный хозяйственник. Попросил себе 1-й класс и вместе с ним нашу постоянную помощь в работе. Каждый урок приходилось с ним репетировать, помогать проверять тетради, так как он не знал даже критерии оценок.

Зато у нас вскоре появились и тетради, и учебники, и кое-какие наглядные пособия. Даже две штуки шведских счётов. Прибыл ещё один учитель, и у каждого осталось всего по одному классу. Появились новые задачи – ликвидация неграмотности среди взрослых. В огромном селе всего десятка полтора жителей, имеющих образование в пределах 4-х классов. По вечерам учителя учили тех, кто может прийти в школу.

На класс одна керосиновая лампа, плохо видно, что пишут учащиеся. Учащиеся 4-го класса раскреплены для занятий по квартирам с теми, у кого малые дети, и в школу ходить не могут.

В середине зимы появляется библиотекарь, или зав. избой-читальней. Дежури́м там по очереди. Народ охотно посещает избу-читальню и с удовольствием слушает новости из газет.

Появились новые общественные обязанности – сбор подоходного налога, страховых платежей, раскулачивание. По ночам, вместо отдыха, идём с активом сельсовета описывать имущество твердозадонцев. Раскулачили и выслали из села 2 кулацких семьи. Село бурлит, как растревоженный улей. Ночью ходим в оглядку и не в одиночку. Не раз получали грозные предупреждения.

В 1933 году прибыли новые учителя. Появился новый зав. избой-читальней, он же - секретарь будущей комсомольской ячейки. Создана при сельсовете партийная группа из 3 коммунистов. Все учителя приняли активное участие в организации досуга молодёжи. Я руководил драмкружком и живгазетой. В избу-читальню привезли радиоприемник (батарейный), и пока батареи не сели, молодёжь, затаив дыхание, слушала Москву.

Драмкружок поставил всего одну пьесу, и по существу, на целый год перестал существовать. Девушки не шли в драмкружок, дома не разрешали заниматься представлениями.

В 1934 году прибыла заведующая школой – Воробьева Прасковья Андреевна, у которой я когда-то учился в 1-м классе, 2 учительницы и учитель с опытом работы. Организовали 5-й класс, и началось строительство школы. Новый учебный год (1934-1935) начали в новой школе.

Выросла комсомольская организация, в которой кроме учителей появились и местные ребята. Рос и авторитет организации. В связи с малочисленностью партийной организации, все проблемы возлагались на комсомол. В бывшей школе (поповском доме) своими силами оборудовали клуб, и появилась возможность оживить массово-воспитательную работу. Вовсю заработал драмкружок. Ставили спектакли не только у себя, но и выезжали в другие деревни сельсовета. При комсомольской организации организовали отряд «Лёгкой кавалерии».

Эх, и интересное это было время! Днём работали кто где, вечером в народном доме репетировали, пели, танцевали. Когда вся несоюзная молодежь уйдёт домой, начинает работать «Лёгкая кавалерия». Ох, и боялись нас охранники, сторожа, конюхи, скотники и всякие лодыри, пьяницы. Понаберём, бывало, фактов у участников отряда «кавалеристов», обрабатываем материал, а в воскресенье выступление в живгазете. Некоторые, особенно злые частушки, после вечера парни и девчата распевали под гармонь у домов провинившихся, доводя их до ужасного возмущения.

А иногда материал оформлялся через светогазету. Киномеханик оставит нам метров 10-15 чистой ленты, а мы и нарисуем и напишем тушью тексты. Текст короткий, но бьющий прямо в цель. Вот приезжает кинопередвижка, народа полон дом. Зажигается свет на экране и, вдруг двойновские выпивохи и сквернословы на нём появляются. Поднимается такой хохот и шум, что того и гляди свалится потолок. Кричат: «Смотри-ка, нашего Ивана-сквернослова и в Москве знают». Многие, в силу своей отсталости, думали, что как и кинолента, светогазета делается только в Москве. Всего, мне помнится, было три светогазеты, но шуму они наделали много. И надо сказать, действенность газеты была огромной, бьющая по недостаткам в такой необычной форме.

В 1935 году я женился на учительнице той же школы Гавриловой Марии Николаевне. Родом она из города Меленки. Родители ее рабочие. Отец Гаврилов Николай Павлович и мать Агриппина Матвеевна работали на Меленковском льнокомбинате, ко времени нашей женитьбы – пенсионеры.

В 1936 году мы с женой еще работали в Двойновской НСШ в начальных классах, а моя мать Анисья Петровна работала на Меленковском льнокомбинате ткачихой.

В марте 1936 года у нас родился сын Юрий, и мы забрали маму к себе в Двойново помогать нянчиться с сыном. С тех пор мама жила с нами и воспитывала всех наших детей, а потом и внуков.

Я работал в начальных классах, а во вторую смену преподавал в 5-7-х классах рисование и физкультуру. Жена работала только в начальных классах.

В Илькине мы имели приусадебный участок и строили дом (мечта моей мамы).

В 1938 году я попросил перевести меня и жену в Ильинскую НСШ, так как у нас там был собственный дом, и не надо искать квартиру. Меня назначили заведующим учебной частью школы и учителем начальных классов Ильинской НСШ.

В 1939 году у нас родился еще один сын - Геннадий. Когда ему исполнилось 3 месяца, меня призвали в армию. В это время велась война с Финляндией, и всех нас, пользовавшихся отсрочкой от призыва, как учителей, призвали в кадровую армию...

О МОЁМ ОТЦЕ

В прошлом году, перебирая свои архивы, наткнулся я на папочку с воспоминаниями отца о нашей семье, которые он начал писать по моей просьбе уже перед самой смертью.

Александр Григорьевич Конаков родился 3 марта 1915 года в селе Илькино Меленковского района Владимирской области. Отец его, Григорий Иванович погиб на гражданской войне. Мать – Анисья Петровна была крестьянкой, затем работала на Меленковском льнокомбинате, в последние годы – домохозяйка. Прадед его, Панкратий Иванович, георгиевский кавалер, воевал под Севастополем в русско-турецкую войну в составе Владимирского полка.

С семнадцати лет отец до самого призыва в армию работал сельским учителем, причём первоначально даже директором школы. Это в семнадцать-то лет!

Отец прошёл две войны: финскую и Великую Отечественную от первого до последнего дня. Был многократно ранен (два пулевых ранения и девятнадцать осколочных), но выжил. Отмолила у Бога Анисья Петровна своего единственного сына. Награждён Александр Григорьевич двумя боевыми орденами и четырьмя медалями, в том числе медалью «За отвагу», которую получил за спасение своего командира и взятие в плен немецкого офицера. Войну закончил командиром батареи самоходок в звании капитана.

После войны, в 1946 году, наша семья переехала на постоянное жительство в Йошкар-Олу, где отец до самой пенсии проработал в Министерстве сельского хозяйства Республики Марий Эл начальником отдела подготовки кадров. К сожалению, дописать воспоминания отец не успел. Он умер в 1987 году...

Геннадий Конаков.

ИРИНА КОЛЕСНИКОВА

ПТИЧКА НАД МОИМ ОКОШКОМ

Моей бабушке, Шашкиной Ольге Ивановне,
с низким поклоном и поздним признанием в любви

Теперь я знаю: надо было дожждаться весны, чтобы правильно написать свой рассказ о бабушке. «Радуйся!» - Прокричали солнечные пасхальные дни. «Радуйся!» - Прорвались в мир побеги растений. «Живи и радуйся!» - Говорила бабушка, просто выражая суть бытия. И я пытаюсь уловить эту суть. Пытаюсь понять глубокий смысл бабушкиной мудрости. Хотя для радости часто нет причин. Ныряю в свои воспоминания, потому что в них есть воспоминания моей бабушки, яркие, словно куски цветного фильма. Я должна их принять, как свои, иначе бесполезны все мои усилия. Может быть, робкий зелёный росточек протянется от бабушки ко мне и вдруг лопнет ещё для кого-то упругим радостным бутонем.

Мы с бабушкой – гости в деревне. Утром встаём ни свет, ни заря и идём в лес за грибами. Сразу за пыльной дорогой пересекаем большое поле спелой ржи с синими каплями неба - васильками. Бабушка идёт и гладит травы руками. У тёмно-зелёного леса, из которого то тут, то там выскакивают светлые стволы деревьев, мы останавливаемся передохнуть.

- Незнамо как стосковалась я по деревне! Никак не надышусь свежим воздухом, так бы весь свой век и дышала! - Бабушка стесняется плакать, она промокает уголком белой косынки слёзы в уголках глаз и кладёт свою тёплую большую ладонь на мою стриженую голову. Под этой ладонью я – как под надёжным щитом и весь мир для меня – волшебная сказка. – Вот она, земля наша кормилица, во всей своей красе! Вишь, жучок ползёт по травке? Не трогай его, пускай себе ползёт, куды ему надо! Всякая былиночка, всякая травиночка, и жучки-паучки жить хотят и радоваться! Вот так бы и обняла всю эту красоту ненаглядную, чтобы уберечь её на веки-вечные от беды всякой! И тебя, птенчика моего, чтобы ты жила и радовалась!

Колесникова Ирина Валентиновна родилась в 1949 году в Йошкар-Оле. Автор книги рассказов. Рассказы печатались в альманахе «Дружба», газете «Российский писатель», журналах «Молодая гвардия», «Литературная учёба», «Роман-журнал 21 век». Живёт в Йошкар-Оле.

- Бабушка, а какая беда бывает?
- Горькая, как полынь-трава. Горючая, как слеза.
- А где она растёт?
- Там же, где грехи наши. Лучше тебе про то не знать, не ведать...

О чём это я тебе рассказывала-то?.. Ну вот, стало быть, вывезла мать моя нас, детей своих, из Польши...

- Одна?

- Одна вывезла, горемычная. Трёх потеряла в пути. Приютили всех родственники в деревне недалеко от Москвы. Мать всю жизнь кланялась в пояс добрым людям за это и работала, не покладая рук своих. Как птичка, про которую я тебе песенку пела... А куды деваться? Надо было кормить шесть голодных ртов, на ноги ставить!.. Люди говорили, мать в молодости красавицей была, а я уже не помню этого. А вот фотографию её, когда она ещё в девушках ходила, запомнила: гордая красавица с тёмной косой, перекинутой через плечо. И глядит так строго, светло...

- Спой ещё песенку!
- Я буду петь, а ты подпевай мне тихонечко, ладно?
- Не хочу подпевать!
- Почему, птенчик мой?
- Потому что не хочу быть этой птичкой!
- Чем тебе птичка не нравится?
- Эта птичка только и делает, что трудится и никто её не пожалеет!
- Такая, видать, судьба у неё.
- Я не хочу такую судьбу!
- А какую ты хочешь?
- Радостную!
- Птичка тоже радуется, поёт.
- Чему радуется?
- Тому, что у неё есть дом, птенчики, и она заботится о них.

Птичка над моим окошком
Гнёздышко для деток вьёт:
То соломку тащит в ножках,
То пушок в носу несёт.

Не обрывай свой рассказ, бабушка! Расскажи мне ещё разок о том, что жилось тебе намного труднее, чем твоим потомкам. Что с шести лет нянчила чужих детей, зарабатывая объедки, обноски и подзатыльники. С двенадцати - горбатилась в поле от зари до зари, помогала матери прокормить младших братьев и сестер. Что учиться пришлось всего три класса начальной школы. Только благодаря своей блаженной крестьянской закваске ты не сгнула от всех тягот, а заработала себе «семь жил», как ты сама говорила. И дала жизнь нам. Бабушка, ты всегда была похожа



Ольга Ивановна Пашкина

на саму себя, и я легко представляю тебя крепкой, словно морковка, девушкой с задубевшей на больших ладонях кожей, с выгоревшей на солнце русой косичкой. Зря ты говорила, что родилась некрасивой, кто может сравниться с тобой?!

- У меня, у молодой, лицо было полное, щекастое. И глаза – кру- у- углые, как у боевого петуха. Видать, оттого, что частушки озорные петь любила. Парни меня боялись, стороной обходили.

- А как же ты замуж вышла?

- Так и вышла, как все выходят.

- Платье у тебя красивое было?.. Ну, расскажи, бабушка!

- Не хочу про то вспоминать!.. А платье было светленькое, простенькое, вот только жених достался никудышный!

Припоминаю взрослые разговоры: замуж бабушка вышла против воли своей матери за красивого парня, но гуляку и дебошира. Пожалела непутёвого. Муж

бил её и гонял по всей деревне. Скоро проворовался в колхозе, его судили, и он навсегда исчез из бабушки-ной жизни, как дурной сон.

Вижу так ясно, будто это было со мной: полупрозрачное, маленькое окошко в тёмной крестьянской избе, земляной пол, белёную печку с полатями. На полатях – спит старуха. Молодая женщина с родными чертами лица быстро встаёт с постели на зов ребёнка в люльке, берёт его на руки, прикладывает к груди. Потом меняет мокрые веточки на сухие и возвращает ребёнка на место. Набросив на себя одежду, зачерпывает кружкой из деревянного жбана воду, пьёт с куском ржаного хлебушка. Нажёвывает ещё немного хлеба, завязывает его в мягкую тряпочку и заталкивает тюрю ребёнку в рот, словно соску. Пусть поспит ещё. Проснётся - больная свекровь услышит крик и сползёт к дитю, успокоит, покуда мать на работе.

- Всякое дело надо делать с любовью, тогда и толк будет! А как же?.. Я тогда скотницей работала в свинарнике, сорок поросят у меня было. Пока накормишь, вымоешь, вычистишь всех, уберёшься – и день прошёл! Похлопаю каждого поросёнка, поглажу и доброе слово скажу: «Наелись, напились и хвостики завились!» Они и рады. Только знала, что их ждёт, и жалела очень, плакала даже.

Мудрая моя бабушка, ты тогда ещё поняла, что от столба до столба, приколовшего нас к своей судьбе, можно пройти по-своему. Поэтому по-

сле смерти свекрови ты заколотила свою избу досками и ушла из родной деревни в поисках лучшей доли для себя и дочери. В лаптях, с котомкой на груди и с ребёнком на спине еле добралась до подмосковного посёлка, где после ремесленного училища обосновался твой старший брат. Без стука вошла в дверь барака, который тебе указали, повалилась на колени.

- Братушка, помоги за ради Христа!

И завывала в голос, заплакала, выкорябывая из глаз слёзы.

Весь жизненный опыт бабушки появлялся из боли и соизмерялся с болью. Помню, как она говорила, заменяя слово «очень» словом «больно»: «больно страшная», «больно тяжёлая», «больно темно». И когда много лет назад брат Георгий намекнул, что есть для неё подходящий жених, вдовец, она ответила: «Больно надо»! Ещё одна боль была не нужна.

Родная моя, вера в то, что «время и труд всё перетрут», всё же просла для тебя маленькими радостными победами: первые денежки первой зарплаты, первые кожаные ботиночки для себя и дочки, первый букетик садовых цветов, подаренный солидным человеком, который не чета некоторым. Честь по чести. Всё как у людей.

- Так и просидела молча, как истукан, когда он за меня сватался. Не помню, что и говорил. Только когда ушёл - завывала, заплакала в голос, как от большого горя. Всё повторяла про себя: «Срамота-то, срамота-то какая!»

- Почему «срамота», бабушка?

- Так. Очень стыдилась я хорошего человека.

Николай Петрович Кантонистов, мужчина видный, полный и не слишком молодой, был неожиданным счастьем в жизни бабушки. Коротким и трудным, как всё её счастье. За ним бабушка и моя мать, которой он заменил отца, жили, как он и обещал, словно за каменной стеной, целых десять лет. Николай Петрович работал директором на кондитерской фабрике, и в доме всегда был достаток. Бабушка очень уважала мужа: «Не дай Бог не потрафить хорошему человеку!» Ежедневно отстирывала его рубашки и бельё, деревянные полы в доме скоблила до блеска. Когда муж приходил с работы - помогала ему раздеться и снять обувь, мыла его потное, рыхлое тело. «Трудно тебе, Оленька?» - спрашивал Николай Петрович, и бабушка, поглаживая свои натруженные руки, таяла от тепла и сочувствия: «Ничё, я привыкшая. Справимся, Бог даст!»

Помню жёлтую от времени фотографию, казавшуюся мне очень древней: бабушка и тётя Маня, жена брата Георгия, неправдоподобно молодые стоят в странных старомодных платьях. Между ними на высоком стуле – девочка, моя мать. На лицах – спокойствие и уверенность в будущем на сто лет вперёд.

Беда случилась неожиданно: утром ещё здоровый и весёлый Николай Петрович умер после совещания на рабочем месте. Сказали – инфаркт.

Что может спасти от горя после смерти близкого человека? – Только жизнь! Надо было продолжать жить.

Ау, бабушка, где ты? Не прячь от меня свои печали в древнем лесу грехов! Всё равно они не дадут мне покоя, пока я не разгадаю их причин. Помнишь ту старую немку, которую ты взяла в свой дом «постоялицей» после смерти мужа? Вы с матерью никогда не рассказывали мне о ней. И я жила – не задумывалась, откуда у дочери бывшей крестьянки светские манеры, отличное знание немецкого языка, платья из необычайно красивых тканей? О добром человеке вспоминают с благодарностью, молчат лишь тогда, когда чувствуют свою вину перед ним. Или когда человек – враг. Бабушка, ты так хотела, чтобы твоя дочь жила не хуже, чем при отчине, что совсем замоталась тогда, работая сразу на трёх работах: «поломойкой», прачкой и курьером. Ты не сразу заметила, что родной ребёнок предпочёл тебя немке? Я думаю, что немка тоже сильно привязалась к девочке. Ведь это её обращение к твоей дочери: «Моя хорошая!» - осталось самой трогательной лаской в нашей семье? «Жиличка» ушла из вашей жизни неожиданно и ... горько. Когда началась Великая Отечественная война, её арестовали, как и многих других иностранцев, находящихся тогда на территории нашей страны. Забрали без объяснений, перетряхнув все вещи в доме и перепугав всех насмерть. Бабушка, ты не могла быть причиной этой беды! Ты не виновата в её смерти! И весь твой грех в том, что ты не посмела защитить старую немку. Даже не сказала ей на прощанье доброго слова. Я знаю, ты приняла этот грех на свою душу, как необходимость. Ты готова была взвалить на себя все грехи, лишь бы твой ребёнок остался жив... А потом? Это ведь благодаря чужим немецким тряпкам, которые ты меняла на еду, выжили в эвакуации? За них ты получала деньги, чтобы без нужды вырастить, выучить дочь, поставить на ноги? Но счастья они не принесли. Может потому, что не было от них радости.

- Бог простит! – Говорила моя бабушка тому, кого не хотела прощать. Простит.

Свет мой, бабушка! Я знаю, ты сама обрекла себя на покорность судьбе, чтобы не гневить Бога. Ты отпустила дочь в мир и долго ждала, чтобы она позвала тебя к себе. Получив приглашение после рождения внучки, ты всю дорогу на поезде проплакала от счастья. «Доченька, я очень по тебе стосковалась!» - Доплакала уже при встрече на перроне. – «Не бросай меня, за ради Христа, я не смогу без тебя жить!» И уже дома, увидев внучку, совсем растаяла и залепетала: «Крохотулечка, пузанчик ты мой! Пикуняточка моя!»

Птичка домик сделать хочет,
Солнышко взойдёт – зайдёт,
Целый день она хлопочет,
Но и целый день поёт.

Радость моя, бабушка, я будто слышу твой ласковый голос, вечно что-то рассказывающий, напевающий, веселящий шутками-прибаутками. Вижу седую голову с маленьким узелком зачёсанных волос на затылке под костяной гребёнкой, круглую родинку на лице и чувствую теплоту твоих губ. С того дня, как ты появилась в моей жизни, я начала обретать силы и защиту на всю свою жизнь.

Помню, как после долгой и тяжёлой моей болезни в детстве ты одна согласилась носить меня к восходу солнца на Крымское водохранилище в Симферополе. Как выдержала ты на руках крупного трёхлетнего ребёнка и два километра пути в любую погоду?

- Бабушка, ты старенькая?
- Знамо дело, старенькая.
- У тебя ножки болят?
- Болят, куды денешься.
- А зачем же ты носишь меня на ручках?
- Чтобы ты, птенчик мой, не болела!

Мы, как и большинство семей военнослужащих, часто меняли место жительства. В годы странствий по великой стране Советов, бабушка всегда оставалась одна в Крыму, берегла для нас коммунальную жилплощадь. Помню, в верхнем углу за рамой кухонного окна ласточка свила гнездо для своих птенцов. И если мы возвращались домой в тёплое время года, то всегда видели за окном щебечущее птичье семейство. Наверное, до сих пор там живут ласточки и так же радуются возвращению своих птенцов, как бабушка радовалась нам.

- Радость-то какая! Слава Богу, дождалась! Пикуняточки мои ненаглядные, какими вы стали большими!

В нашем действительно безоблачном советском детстве мы, дерзкие и эгоистичные, не понимали и не принимали бабушкиной невзрачности, покорности, всепрощения, считая всё это последствиями навсегда миновавшего нас дурного общества. А бабушка, запрятав в памяти всё тяжёлое, жила для нас радостно, терпеливо и тихо, надеясь, что всё плохое уже позади.

Когда родители развелись, мы перестали переезжать из города в город. Но бабушка не обрадовалась этому событию.

- Дочка, не дай тебе Бог такую же судьбу, как у меня! – сокрушалась она.

Мать смеялась в ответ.

- Ну, вот ещё! С какой стати?

Бабушка не смогла смириться с тем, что её дочь – красивая, умная, смелая и – одинокая. Теперь я знаю, что все наши ошибки, поражения, болезни – это крест для тех, кто нас любит.

Мать моя была уверена, что ни за что не повторит судьбу бабушки. Я верила, что никогда не повторю судьбы бабушки и матери. Но мир по-

лон печальных копий с разновидностью причин, приводящих к одному итогу. Замкнутый круг вечного потока времени в древнем лесу грехов и заблуждений. Как выбраться мне оттуда? Бабушка, душа моя, не оставляй меня одну на обратном пути!

Течёт быстрый ручей по замкнутому кругу. На дне ручья – острые камни. Мы с мамой, задрав юбки, чтобы не замочить их, бредём по этим камням. «Что это?» - спрашиваю я, и кто-то тихо, но властно отвечает: «Это сон!» Маме трудно идти, она изранила все ноги и жалуется мне на боль. «А ты иди не по камням, а по воде», - советую ей я и ступаю по поверхности ручья. Но слышу в ответ: «Не могу так, не получается!»

В тот день я получила письмо из дома с известием, что бабушка потерялась.

Ночь холодная настанет,
От реки туман пойдёт.
Птичка-душенька устанет,
Спит, и петь перестает.

- Что болит, птенчик мой?
- Душа болит, бабушка!
- Поболит и перестанет.
- Больно-то как!
- Это ничего, значит, ты - живая!
- Прости меня, бабушка!

Пока я живу, у меня ещё есть возможность попытаться что-то сделать, что-то исправить. Хочу через все беды и печали прорастить цветок радости для другой живой души. В память о моей бабушке.

«Деточки мои милые, пикуняточки мои ненаглядные! - Рвётся из меня чей-то высокий красивый голос. - Рожала я вас для добра и радости, хотела, чтобы в счастливой семье росли вы в любви и заботе. Надеюсь, что внуки и правнуки мои будут зачаты с любовью и разумом. Молилась, чтобы душа ваша не была изрыта пятнами греха, чтобы она познала свет ещё до того, как канет в вечность. И верую я в то, что есть у вас ещё время, чтобы сотворить ЖИВУЮ душу тех, кого вы любите. Ибо живая душа – ваше спасение!»

И чуть утро - птичка снова
Песню звонко заведёт.
Весела, сыта, здорова
И поёт себе, поёт!

29 мая 2005 года

АНАТОЛИЙ ПОДОЛЬСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О САШЕ СМИРНОВЕ

Ранним летним утром 1970 года отец провожал меня из деревни. Я закончил десять классов Аргуновской средней школы в Никольском районе Вологодской области, причём последние два года учёбы мне приходилось добираться до школы за 20 км, и решил покинуть мою родную деревню Подольскую. Мы перешли вброд речку Шарженку, на челпановскую сторону, отец поставил мой чемоданчик на берег и пошёл обратно. Я посмотрел ему вслед, взял свою небольшую поклажу и пошёл на автобусную остановку.

Уезжал я в Мурманск. В этом городе отец некоторое время жил до войны, ходил в море, а потом воевал, сопровождал английские и американские суда, которые шли в Мурманский порт. Он много мне рассказывал о Заполярье, и я знал, что после школы уеду в город его молодости.

На автобусе до Никольска, самолётом до Шарьи и поездом до Мурманска. Северный город встретил меня лёгким туманом и летним полярным днём, который, казалось, не прерывался на вечерние и ночные часы. Я хотел учиться в Мурманском высшем мореходном училище, но там был строгий медицинский отбор, и хотя я с детства занимался спортом и у меня не было проблем со здоровьем, врачи на комиссии обнаружили у меня «периодическое покраснение век», что не позволило мне стать курсантом. В тот же день, услышав объяснение докторов училища, я подал документы в Мурманский государственный педагогический институт, был признан абитуриентом и мне выделили место в общежитии.

Пятиэтажное общежитие, что находилось в центре города, было заполнено абитуриентами, которые приехали не только из Мурманской области, но и из многих регионов страны. В семидесятые годы романтические настроения были присущи молодёжи, и многие юноши и девушки приезжали в Заполярье, в том числе и в Мурманский пединститут. Не все поступили, но многих я помню до сих пор, хотя мы были знакомы всего несколько недель. В те годы была распространена практика организации занятий и консультаций для абитуриентов в течение месяца до

Подольский Анатолий Анатольевич родился в 1953 году в Вологодской области. Автор 5 поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в п. Медведево.

вступительных экзаменов, поэтому днём мы встречались на подготовительных занятиях, затем обедали в городских столовых, благо их было множество, гуляли по Мурманску и шли в общежитие. Среди нас было много начитанных, по-настоящему эрудированных молодых людей. Но мы не только готовились к экзаменам: вечерами (это условно, т.к. в Заполярье летом светло почти всегда) мы спорили на возвышенные темы, мечтали и верили, что нас ждёт прекрасное будущее. Новые впечатления буквально захлёстывали нас.

В те дни я познакомился с Сашей Смирновым из Йошкар-Олы. Название города мне было знакомо: там, выйдя замуж за военного, жила моя сестра Рая, но я и не предполагал, что через несколько лет судьба меня сведёт с Сашей уже в Йошкар-Оле. Смирнов всегда был интересным собеседником, душой компании. У современной молодёжи есть такой термин-определение: прикольный. Наверное, в полной мере оно характеризует семнадцатилетнего Сашу Смирнова. Ему были присущи ирония и особый взгляд на окружающий мир, людей и события. Он легко знакомился с людьми и имел успех у девушек. В то время у нас были другие приоритеты – ценился багаж знаний, начитанность и образованность. Было особое отношение к книгам. Так, например не было удивительным заявление одного парня из нашей компании, что если он не поступит в вуз (а конкурсы были по-настоящему большими и жёсткими), то устроится на работу на маяк с тем, чтобы ничто не мешало читать книги.

Мы были молоды и общительны. Это оправдывало всякого рода невинные приключения. Часть окон нашего общежития располагалась напротив обычной жилой пятиэтажки. Окно нашей комнаты, которая располагалась на третьем этаже, было раскрыто, и мы могли наблюдать, как в квартире напротив группа девчонок отмечала какой-то праздник, как выяснилось позднее – день рождения одной из девушек. Наша компания знаками поприветствовала их компанию, и поскольку окно у девчонок тоже было открыто, мы через несколько минут уже могли (между нашими зданиями была всё-таки небольшая, но улица) что-то прокричать друг другу. Девушки пригласили нас к себе. Мы совещались недолго, так как Саша сказал самую убедительную фразу: «По крайней мере – поедим что-то вкусное». Стол действительно был богатым: коньяк, фрукты, салаты. Мы очень мило пообщались, договорились вместе сходить на танцы в ДК, но как-то не сложилось.

Не знаю почему, но Саша завалил сочинение, поступая на филологическое отделение. Мы провожали его всей компанией, девушки даже плакали. Ночным поездом Саша возвращался в Йошкар-Олу, откуда он приезжал в Заполярье, по его словам, «в поисках романтики».

Через год после успешного окончания I курса физико-математического факультета Мурманского пединститута я перевёлся на второй

курс инженерно-экономического факультета Марийского политехнического института в г.Йошкар-Оле.

Судьба вновь свела меня с Сашей Смирновым, когда я учился на 5 курсе. Студенты ИЭФ жили в первом общежитии, что и сейчас стоит рядом с главным корпусом МарГТУ – так теперь называется «политех». В тёплый весенний день, прогуливаясь с приятелями у музыкального театра, я совершенно случайно встретил Сашу Смирнова. Мы обнялись. Он удивился: почему я в Йошкар-Оле. Взяли пару бутылок вина и расположились в комнате общежития. Целый вечер мы вспоминали лето 1970 года, Заполярье, наши абитуриентские дни. У меня была фотография: Саша в вестибюле около доски объявлений в Мурманском пединституте. Он очень обрадовался, увидев фотографию, и даже просил сделать ему копию в фотоателье.

Мы виделись ещё несколько раз, а затем я после окончания института уехал в Сибирь, потом была армия и возвращение в Йошкар-Олу. Обратился к Саше в период, когда мне нужно было жильё в городе на пару недель. Он без проблем помог мне. Пользуясь своими связями в студенческих кругах университета, познакомил меня с председателем студсовета, который смог неформально выделить мне комнату в общежитии на несколько летних дней, когда студенты были на каникулах. Через два-три дня я решил свой квартирный вопрос, и жить нелегально мне не пришлось.

Жизнь всё расставила по местам. Александр закончил Марийский государственный университет и как-то сразу занял своё место в журналистике республики. Он владел не только пером, но и фотоаппаратом, с которым временами не расставался. Его острые, ироничные статьи вызывали неоднозначную оценку, но они всегда были востребованы читателями. За его публикациями следовали вопросы и споры. Он не боялся разоблачать и обличать, но боролся он не ради разрушения, хотя его и обвиняли в том, что он «раскачивает лодку», а ради высшей справедливости, о которой многие говорили и мечтали, но только избранные могли открыто противостоять злу. Причём зло существовало не в какой-то абстрактной форме, а в образах вполне конкретных лиц. При всём этом Александр оставался компанейским парнем и настоящим семьянином. Но даже в эти незыблемые для него сферы он вносил свой экстремальный подход. Например, ради своей возлюбленной Саша ездил в археологические экспедиции. Закон отрицания отрицания, безусловно, присутствовал в его мировоззрении, но в жизни его всегда имели место идеи и люди, которым он оставался верен. Были и другие ценности, о которых он говорил искренне и без иронии. В конце восьмидесятых, случайно встретившись со мной на улице в Йошкар-Оле, Саша с гордостью показал удостоверение члена Союза журналистов и сказал, что это единственное его достижение, имея в виду что нет у него ни должностей

высоких, ни квартиры и машины. Он не был «бессребреником», но своё духовное предназначение ставил выше материальных благ, прелести которых наше поколение уже могло оценить и принять в те годы. Смирнов стал известным в республике журналистом, и это воспринималось его друзьями и знакомыми как процесс естественный, вытекающий из его импульсивного, творческого начала. Я в то время возглавлял экономические службы ряда предприятий. Мы редко виделись, но сохраняли приятельские отношения.

Наступившая перестройка, а затем другие перемены, изменившие страну и нас, позволяли надеяться, что из хаоса в который сползала великая страна, общество выйдет другим. Никто не ведал, каким оно будет, но большинство людей ждало перемен к лучшему. В конце восьмидесятых-начале девяностых годов я работал заместителем генерального директора кооперативного объединения «Ладога». Лесозаготовка, деревообработка, производство железобетонных изделий приносили немалый доход, а поскольку в начале девяностых складывались своеобразные экономические, или скорее околэкономические отношения, то не обошлось без предложений «поделиться». «Ладога» обходила все препоны, пока требование передавать ежемесячно сумму в размере 10% от всей реализации не поступило от руководителя объединения «Марийскмелиорация» К.В. Ефимова, известного впоследствии своим молниеносным переездом в США, куда он прихватил с собой 1 млн. долларов бюджетных средств.

Ефимов подключил административный ресурс, и наше противостояние с высокопоставленным чиновником привело к падению объёмов производства нашей фирмы. Но мы тогда верили в перемены и демократию. Время было такое – всё менялось и хотелось верить – в лучшую сторону.

Я подготовил обстоятельную статью о сложившейся ситуации, она так и называлась «Противостояние». Её рассмотрели даже в редакции «Литературной газеты», тогда это был рупор демократии, (по этому вопросу мне специально пришлось ехать в Москву), но всё-таки посоветовали опубликовать в местной – республиканской прессе.

Статья с конкретными фактами мздоимства известных в республике людей могла наделать много шума, и поэтому была проблема с публикацией. Несмотря на провозглашённую гласность и демократию, редакторы осторожничали. Смелости продвинуть статью хватило только у Саши Смирнова, которому я откровенно рассказал про сложившуюся ситуацию. У него уже был тогда имидж журналиста непокорного властям. Кстати, один из редакторов мне откровенно сказал, что опубликовать вашу статью может лишь один человек в республике – Александр Смирнов. Обстоятельства сложились таким образом, что на Совете директоров «Ладоги» было решено повременить с публикацией, а потом

мы создали другую независимую фирму, и статья потеряла свою актуальность, но повторяю: в те непростые дни Смирнов Саша не испугался последствий и единственный был готов опубликовать разгромную для чиновников статью.

Своим друзьям Саша говорил: «Когда я умру, меня будет хоронить весь город». Слова оказались пророческими: о его смерти узнала вся страна.

Александр Смирнов погиб 4 октября 1993 года в Москве у стен Белого дома и сообщение об этом неоднократно передавали центральные средства массовой информации. Год спустя Союзом журналистов Республики Марий Эл была учреждена премия имени Александра Смирнова «За журналистскую смелость, гражданское мужество и принципиальность». В журналистику приходят новые поколения, но имя Саши Смирнова, человека, журналиста, правдоискателя навсегда останется светлой страницей в истории нашей республики.



Александр Смирнов в Мурманском пединституте.

АЛЕКСАНДР ЛИПАТОВ

ВО ВСПЛЕСКАХ СЛОВА СГУСТКИ МЫСЛИ

Поэты – что цветы на лугу: все очень разные; у каждого своя словесная палитра, свои речевые и ритмо-мелодические звоны стиха, своё видение образа. Но всех роднят с жизнью их поэтические творения, связь со временем. Именно время, как на оселке, испытует на прочность и самого поэта, и его творчество. При этом поэтическое слово неудержимо полётно. А эту полётность оно обретает лишь тогда, когда крылата и сама мысль. Творит же поэт по законам красоты: её, «разбросанную всюду, он кладёт мазком цветным на полотно».

Однако так нелегко остановить мгновение прекрасного и запечатлеть его трепетно-пульсирующую красоту. А прекрасное рядом с нами – в природе, в нашей повседневности, в слиянии человека с природой, – только надо уметь заметить это.

Вот короткое, но ёмкое стихотворение :

Моя рябиновая родина:
Ручья картовый говорок,
Болот заросших колобродина
И поросль клёнов у дорог...

И грай грачиный по-над ветлами
Да пашни брошенной клинок...
И машет зорями, как метлами,
Огнём охваченный восток...
А над проснувшейся Россиею –
Как свет, берёзовый костёр,
Как символ радости и сил её,
Как белой вечности простор!

Случайно ли это колдовски-радостное стихотворение поэта-волжанина Геннадия Калинкина стало его визитной карточкой в мир поэзии?

А в 2000 году первая подборка его стихов «Моя рябиновая родина» в московском журнале «Наша жизнь» принесла поэту звание лауреата поэтического конкурса и всероссийскую признательность знатоков истинного поэтического слова.

Начиналась же поэтическая стезя Г.Калинкина целых полвека назад: в 1981 году в Марийском книжном издательстве вышел совсем тоненький сборник его стихов «Откровенность». Уже тогда поэт-волгарь, очарованный красотой родного «края потомков Онара», спешит запечатлеть в стихах эту колдовскую красоту:

Липатов Александр Тихонович родился в 1926 году в Ульяновской области. Доктор филологических наук. Автор 18 книг, изданных в России и за рубежом. Живёт в Йошкар-Оле.

Косолапят дожди грибные,
Рассыпает капель хрусталь.
И светла ты, моя Россия,
К горизонту бегущая даль.

Или:

Босоногие берёзки
Смотрят в чистый окоём:
Левитановская осень
Замечталась над ручьём

Смотрите, как бережно ищет
поэт свои слова-краски, отчего
гуще и чище и сам поэтический ма-
зок. Оттого-то столь выразительны
метафорическая образность стиха

и его самость: «хрустальная рос-
сыпь метели», «клеим клювом
пробивает листок тугую скорлу-
пу», «бьётся солнце в трепетных
росинках, всю планету светом оза-
рив»...

В несколько поэтических
строк поэт умеет вместить и без-
донность времени, и мгновенье
прекрасного. А его слова тоже осо-
бенные: в них – то тонко-ажурная
нежность акварели, то густая, ра-
дужно-живописная цветень кра-
сок. В стихи впрессованы испове-
дально-светлые раздумья поэта,



Геннадий Калинин – мастер слова, тяготеющий к малым формам поэтического жанра, когда в стихотворной малости поэту удастся высветить целый пласт жизни с ее радостями и болями, находками и утратами.

Еще мальчонкой взяла его в полон поэзия. А к поэтическому мастерству пролегла дорога длиною в жизнь: и начиналась та стихами в «Пионерской правде». Закончил филологический факультет Казанского госуниверситета и с 1958 года в Волжске с головой окунулся в волшебный омут журналистики. Своё творческое мастерство оттачивал в «Волжской правде» и «Марийском бумажнике». Но поэзия так и не отпустила его: калинкинская журналистика обрела поэтические крылья.

Стихи Г.Калинкина публиковались в коллективных сборниках в родном Поволжье и в Москве – в центральных журналах «Природа и человек», «Москва», «Наша жизнь» и др. Первую книгу стихов «Откровенность» он издал в 1981 году; затем последовали и другие – «Половодье» (1996), «Пока есть жизнь» (2000), «За розовой далью» (2007), «А Русь по-прежнему жива...» (2009).

Хорошей поэтической школой для начинающих литераторов-волжан стало созданное Г.Калинкиным при «Волжской правде» литературное объединение «Волжский родничок», а затем в 1996 году зажглась «Зелёная лампа», огонек которой горит до сих пор. Поэтами стали давние «зелёноламповцы» Н.Соболев, Л.Веселова, Р.Гимадеева, Э.Самойлова, В.Иванов и др.

Геннадий Калинин – член двух творческих объединений – Союза писателей и Союза журналистов России. Он – заслуженный работник культуры Республики Марий Эл, Почётный гражданин города Волжска.

и эту светоносность поэтического слога читатель ощущает в его стихах. «Нежной задумчивой грустью» пронизаны стихи о Родине:

Просыпается старая Русь,
И как будто сместились года —
Ведь в минувшее нежная грусть
Тянет снова свои провода.

Эта светлая грусть — как связующая нить между прошлым и будущим. Об этом и стихи о родном Поволжье, о «глухаринной Руси», в коих эта грусть пронизана светом надежды:

И опять над тобою туманы,
И снова с тобою печаль.
Но где-то зарей несказанной
Зареет заветная даль.

Поэтический сборник «А Русь по-прежнему жива...» вышел в канун 65-летия со дня нашей Великой Победы, потому-то клубок памяти снова уводит нас в пору «грозовых сороковых». Для сверстников поэта это были годы, лишённые детства, — годы, когда они, зелёные подростки, «бедой, нуждой опалены, решали взрослые задачи суровых грозных лет войны». А эти грозные лета неизбывны; они и сегодня бередают наш разум и наше сердце. Поэт и лирический герой его стихов — одноклассники, они-то уж знают страшную цену тяжёлой военной години: память о погибших за Родину — в множестве обелисков по всей бескрайней России:

То могилы их братские,
То из стали слеза...
Смотрят в вечность солдатские
Молодые глаза.

И ещё:

Маки, что капельки крови,
Алеют в сиянии дня,
И бьётся в гранитных ладонях
Вечное пламя огня.

Образность слова тут не заёмная, а выношенная с болью в сердце, потому-то мощными зарубками и врезаются в сознание эти кованые строки с их не остывающей памятью-болью. И не случайно у сына России, лирического героя стихов Г.Калинкина, столько пронзительно-щемящих красок о её красотах:

Рощ зелёных ветры
Над ржаную грустью...
Эти километры
И зовутся Русью.

И в радостях, и в невзгодах поэт всегда остаётся с Родиной; для него «берёзоликая Россия светла как первая любовь». А русские берёзы, этот символ её чистоты и вечной молодости, светоносны: от них «над Родиной всей — свет берёз». И эта «берёзовая светоносность» глубинно-далёкая. Не случайно «сквозь пространства столетий» поэт видит, как

Мчит к нам пращур, горяч и белёс,
Обуздавший ордынские степи,
Спасший княжество русских берёз.

Эта сыновняя гордость и боль страстно пульсирует, клокочет в стихах о Слове русском, о русской речи, которым в наше не устоявшееся время грозит опасное увядание:

С чужою речью мне не выжить,
Я с детства к русской лишь привык.
И из меня огнем не выжечь
Родной мой пушкинский язык!

Родному великому слову «нет предела и покоя»; оно, «певец печали и любви», творит вечное. И эта любовь к Родине и Слову у поэта спаяна с любовью к родной матери, к любимой женщине:

Век наш смутный, не лёгкий, бурливый,
Где добро порой гибнет во зле,
Если женщина будет счастливой –
Быть и счастьем на нашей Земле!

Видать, потому так проникновенны стихи о любви как высочайшем из человеческих чувств («Подрастали вместе», «Руки», «Спасибо, жизнь!»):

Хочу: горели б светизной
Души твоей огни,
Чтоб ты была всегда весной
В оставшиеся дни.

А стихотворение «Моя родная» пронизано светлой музыкой чувств:

Туда, где вешним омутом
Заволокло сады,
Ушла со мной из дому ты,
И май замёл следы <...>
Для нас и годы быстрые
Пройдут не стороной,
И в непогоду выстоим,
Хорошая, с тобой.

Богат мир «водопада чувств» лирического героя стихов Г.Калинкина. Вот строки из стихотворения «Любовь диктует мне строку...»:

И вот горит она, пылая,
Уже весь мир огнём объят...
Любовь то вспыхнула большая,
Души высокой водопад.

Любовь способна раздвигать земные границы. И этот космизм не случаен: лирический герой стихов стремится «дотронуться до вечности рукой» и побывать там, где «за гранью неземною правит вечностью любовь».

Новый сборник стихов Г.Калинкина убеждает, что его поэтический голос и в малых формах стиха звучит глубинно-ёмко: в них спрессована гармония мысли и слова, пронизанная образной и музыкальной чистотой слога. Сдаётся, что поэту даже в утренней капле росы видится огромный мир; через колдовскую радугу слов поэт рисует неувядаемую красоту и ширь родной России:

В оживленье каждая былинка,
И вокруг, куда ни посмотри,
Бьётся солнце в трепетных росинках,
Всю планету светом озарив!

В солнечной радуге слов-красок очеловечивается и сама природа: «У осины тонкой, как дымок, причёска; нежен васильковый женский взгляд», «В белом кружеве берёзки – словно бал невест», «На излёте сентября пылает и грустит рябина у дорог».

Или:

Осень яблоками пахнет,
Золотится старый сад,
Где опять на мягких лапах
Бродит тонкий аромат.

Поэтическое творчество Г.Калинкина исключительно метафорично: поэт умеет уловить в метафоре пульс её образности. А метафора – воистину дитя эмоций: «как только центр тяжести переносится на эмоциональное воздействие, запрет на метафору снимается»¹.

Очень прав Ф.Гарсиа Лорка: «Подлинная дочь воображения – метафора, рождённая мгновенной вспышкой интуиции, озарённая долгой тревогой предчувствия»².

Именно яркие вспышки интуиции, озарённые тревогой предчувствия, лежат в основе точно созданных поэтических символов, венчающих метафорическое мастерство. Есть у Г.Калинкина короткое, всего-то в три строфы, стихотворение-символ «И грустит рябина». А посвящено оно памяти великой русской поэтессы Марины Цветаевой, родившейся в сентябре, когда «кистью красною рябина зажглась»:

На излёте сентября пылает
И грустит рябина у дорог...
Снова осень в рощах совершает
Листьев опадающих поджог...
О, рябина, красная рябина, -
Горький символ русских за грехи!..
Отцвела Цветаева Марина,
Только куст рябины, как стихи...
У обеих ныне сентябрины,
Ярче свет в рябиновых кострах.
И стучит Цветаевой Марины
Сердце в её истоковых стихах.

Метафорическая кисть самовитого поэтического слова сочными мазками скупых строк, что называется, прямо на глазах читателя создает яркий образ. «Отцвела Цветаева Марина, только куст рябины, как стихи» - это двустипшие вобрало в себя и грусть рябины у дорог, и свет рябиновых костров, и жгучие «рябиновые» стихи великой поэтессы.

А годы шумят над головой: они – в неудержимом полёте – как стая журавлей, открывающая новь:

Многоцвётые лет сверкают новью,
Что сокрыта в утра полумгле.

И поэт вместе с читателем соприкасается с этим многоцвётые лет, сверкающим новью... Лирический герой его стихов влюблён в жизнь с её страстным кипением красок и чувств:

Жизнь – удивительное чудо,
Где каждый миг неповторим:
И посвист птиц, и алость утра,
И жар любви, что нестерпим.

И пока торжествует жизнь, жива и любовь с её светом мечты и надежд.

¹ Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. 2 изд. испр. М., 1999. С.373.

² Гарсиа Лорка Ф. Избранные произведения: в 2-х т. М., 1986. Т.1. С.410.

СЕРГЕЙ СТАРИКОВ

«Я ИСТИНУ ДОЛГО ИСКАЛ...»

Жизнь и творчество Алексея Тихонова-Лугового

Провинциальный Царевококшайск гордился своими земляками, которые достигли в России того времени высокого положения. Это были разные люди, как родившиеся в нашем городе, так и жившие здесь не один десяток лет, снискавшие признание у российской научной, литературной, творческой общестственности. И сегодня, спустя 100 лет, каждому йошкаротинцу, патриоту своего города, приятно сознавать и говорить о том, что и Царевококшайск внес свою лепту в развитие русской науки и культуры, явив России такие значимые имена. Эти люди любили русское слово, гордились тем, что Царев город на Кокшаге стал для них первым университетом русской словесности. Родная речь, русский язык и литература в начальных учебных заведениях города преподавались блестяще, о чем свидетельствуют отчеты инспекторов Казанского учебного округа, а выпускники отделения русской словесности Императорского Казанского университета считали за честь по-

ехать на преподавательскую работу в Царевококшайск.

Оказавшись в столицах, ближних и дальних уголках необъятной империи, эти люди не теряли связь с тихим уголком нашего Отечества – Царевококшайском. Город, люди, край, воспоминания детства и юности навсегда остались с ними, нашли отражение в их творчестве. Встреча с именитыми земляками всегда приятна: и для тех, кто знаком с их жизнью и творчеством, и для тех, кто впервые пытается открыть для себя страницы летописи родного города и своей малой Родины.

Алексей Алексеевич Тихонов-Луговой – известный русский писатель конца XIX-начала XX веков, к сожалению, незаслуженно забытый в XX веке, несмотря на 12-томное собрание его сочинений, вышедшее до Первой мировой войны. Для нас, жителей современной Йошкар-Олы и Республики Марий Эл, примечательна и значима тесная связь А.Лугового с нашим краем, городом Царевококшайском.

Стариков Сергей Валентинович родился в 1956 году в Йошкар-Оле. Доктор исторических наук. Автор 9 книг по истории России и краеведению, русскому православному искусству. Почётный гражданин г. Йошкар-Олы. Живёт в Йошкар-Оле.

Не случайно, в 2008 г., в связи со 150-летием со дня рождения писателя, одна из улиц нашего города была названа его именем.

Жизнь и творчество А.Лугового пока изучены очень слабо. Кроме книги петербургского историка и краеведа В.И.Хрисанфова (Лужский затворник. Страницы жизни русского писателя А.А.Тихонова-Лугового.СПб.,2009), где впервые на основе архивных материалов рассказывается о нелёгкой судьбе писателя, главным образом, о последнем периоде его жизни в городе Луге Петербургской губернии, никаких исследований нет. Автор данной статьи, опубликовав несколько очерков о писателе в «Царевококшайском альбоме» (Йошкар-Ола,2008) и других книгах о нашем городе, стремился более подробно рассказать о царевококшайском периоде жизни А.Лугового. В основу были положены воспоминания писателя, его опубликованное литературное наследие, собранное почти полностью, а также свидетельства современников.

Алексей Алексеевич Тихонов родился 19 февраля 1853 г. в г.Варнавине Костромской губернии, но большую, сознательную часть детства и ранней юности провёл в Царевококшайске.

Его отец Алексей Яковлевич, богатый коммерсант, в 1856 г. сначала переселился с семьёй в Казань. Мать писателя была дочерью богатого казанского купца. Она умерла, когда Алексею исполнилось семь лет. В 1858 г. семья Тихоновых переселилась в Царе-

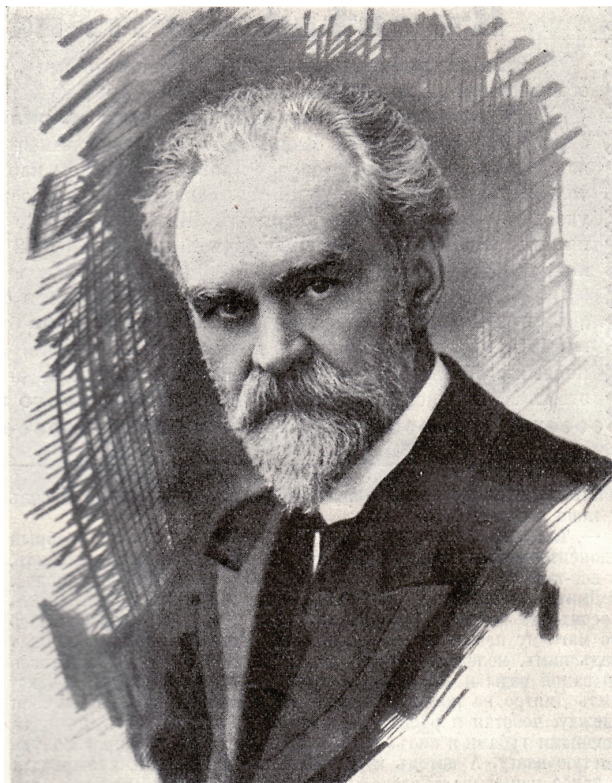
вококшайск, где отец купил винокуренный завод.

«Мне было, кажется, три года, - вспоминал А.Луговой, - когда отец с матерью переселились в Казань. А спустя год или два они переселились в Царевококшайск, тот самый знаменитый Царевококшайск, который так часто упоминается и в периодической печати, и в художественных литературных произведениях с непрямым прибавлением многозначительных «какой-то» или «какой-нибудь».

О своей жизни в Царевококшайске А.А.Тихонов-Луговой рассказывает в своей автобиографической повести «Как росла моя вера» (1909). Тихоновы поселились в большом доме на углу Новопокровской и Садовой улиц, где сейчас стоит здание аптеки №1. «Помню дом – большой, деревянный, с покоровившейся от времени обшивкой, с четырьмя толстыми колоннами, подпирающими высокий фронтон мезонина... Помню сад, старые дупластые липы – с шишками и наростами на стволах и на ветвях», - писал А.Луговой. Семья посещала приходской храм – Вознесенскую церковь. Детские впечатления сохранили любовь писателя к этому царевококшайскому храму. «Я любил нашу приходскую церковь, высокую, белокаменную, с большим зелёным, почерневшим от времени куполом, с наружной галереей и наружной лестницей во второй этаж. Мне всегда было приятно, когда нянька вносила меня под эти своды, где было столько красивых образов, где было столько позолоты, и

где даже днём, лаская глаз, горели большие и маленькие свечи в больших подсвечниках; мне нравилось и пение мальчиков на клиросе...». Мальчику Алёше церковь представлялась «какой-то неведомой птицей», готовой оторваться от земли и подняться в высь неба. «Когда начинали весело звонить колокола, я чувствовал, что меня самого что-то точно поднимало с земли, и я ждал, что чудо сейчас свершится – церковь-птица полетит».

Через несколько лет отец купил новый дом на Вознесенской улице, но на другом конце города. Дом был больше и лучше, состоял из почти 30 комнат, примыкал к винокуренному заводу. Это был «огромный, старый-старый барский дом со множеством всяких комнат и сеней в двух этажах» – вспоминал Алексей Луговой. Если в прежнем саду стояли столетние липы, то здесь росли столетние берёзы, огромная лиственница, а один из уголков сада представлял собой настоящую лесную чащу. Огромный двор выходил на реку Кокшагу. С любовью А.Луговой писал о «нашей речке». «...Я полюбил нашу речку... Весной, в половодье, речка разливалась на две версты, и по ней сплавлялись плоты в Волгу; летом она мелела настолько, что в некоторых местах её можно было переходить вброд. Тогда она была у нас уже совсем дома, была наша крепостная, дворовая, и в первые же два лета я как-то точно сроднился с ней. Целые дни я проводил на реке, какая бы ни была погода, катался в ботнике, удил рыбу, ставил



Алексей Алексеевич Тихонов-Луговой.
Фотография из журнала "Нива". 1914 г.

рачни, а в жары раз по пятнадцать на дню купался, купался до лихорадки. В речке было бесконечно много мелкой рыбёшки, плотвы и пескарей или «шешуранов», как их у нас называли; было немало и язей, окуней, ершей; они плавали целыми стаями и даже не боялись купающихся. И я любил играть с мелкими пескарями, которые, бывало, как только влезешь в воду, сейчас же подплывут со всех сторон и начнут толкаться мордочками в голое тело. Тогда я и сам чувствовал себя чем-то вроде рыбки... Мальчуганом лет девяти я уже лавливал и щук на живца, таскал и окуней фунтов по пяти».

Всегдашним спутником Алексея был дед Андрей, отец семейного кучера. «Часа по три, по четыре мы высиживали с Андреем в глухом молчании, сосредоточенно следя за нашими удочками». Только удар колокола приходского храма заставлял идти ко всенощной.

Новым приходским храмом стала Входаиерусалимская (Рождественская) церковь, настоятелем которой был отец Алексей. Это был Алексей Иванович Богородицкий, отец известного учёного-лингвиста, также нашего замечательного земляка В.А.Богородицкого. А.Луговой описал храмы Царевококшайска, отметив, что «наша новая приходская церковь» была беднее Вознесенской, но находилась «тоже близко от нас – всего через квартал».

К шести годам Алексей выучился читать и писать. А когда сыну исполнилось семь лет, в 1860 г. отец направил его в пансион Чулковой в Казань. Пробыв там до 11 лет, Алексей вновь возвратился в Царевококшайск – было решено продолжать воспитание и обучение дома.

Отец будущего писателя Алексей Яковлевич Тихонов, образование которого ограничивалось курсом уездного училища, тем не менее, всегда стремился к знаниям и старался приблизиться к лучшим образцам образованности того времени. А поскольку его торговые дела шли хорошо, то, по выражению А. Лугового, «стесняться в расходах не приходилось, и то домашнее образование-воспитание, которое должны были получить

мы с братом, было сколком с домашнего образования помещичьих сынков того времени». Отец приглашал гувернёров из-за границы, которые имели на сыновей большое влияние. «Немецкую литературу я полюбил тогда страстно, – вспоминал А.Луговой. – Я быстро проглотил всего Шиллера, всего Гёте. У моего гувернёра была привезена с собой порядочная библиотека из латинских, греческих, еврейских, арабских, немецких и французских классиков. Он научил меня любить «книгу»». Отец не жалел денег на выписку книг. Все новинки появлялись в доме Тихоновых. Имелась фундаментальная библиотека, где отечественные и зарубежные классики были хорошо представлены. «Книги в детстве я читал без разбору, – признавался А.Луговой, – все, какие были популярны в шестидесятых годах девятнадцатого века».

В доме Тихоновых царила особая атмосфера. В середине 60-х гг. XIX века новые идеи всё глубже проникали в русское общество, будоражили мысль. Кроме гувернёров в доме бывали учителя русского языка из студентов Императорского Казанского университета. По рукам ходили запрещённые тогда переводы Бюхнера, Фейербаха, Дарвина. «В отроческом мозгу, – свидетельствовал А.Луговой, – всё это плохо переваривалось, но оставляло свой след».

В товарищеских беседах в доме читалось и обсуждалось с гувернёрами, студентами, акцизными чиновниками, среди которых

были симпатичные люди «чистомышленного характера», всё новое, что тогда было в науке и литературе. К тому же, отмечал А.Луговой, «в нашем захолустном Царевококшайске жили в то время сосланные туда за польское восстание человек сто или более поляков. Между ними были и люди интеллигентные, и люди богатые, и это вносило своеобразную струю в жизнь глухого городка, а косвенно отражалось и на жизни нашего дома в смысле проникновения в него прогрессивных идей». В этой среде сыновья Алексей и Владимир впитывали в себя, как мягкая губка, идеалы, которыми тогда жило всё мыслящее русское общество.

Алексей овладел несколькими языками. А латинский ему казался «чуть ли не музыкой». Многие классические произведения древнего мира он читал в оригинале. Это, несомненно, сыграло большую роль в развитии писательского дара.

В царевококшайском доме Тихоновых получали все особо читаемые русские периодические издания: журналы «Современник», «Русское слово», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Библиотека для чтения», газету «Искры». «И я теперь уже часто забывал, - вспоминал А.Луговой, - и ужение рыбы, и верховую езду, и катанье на коньках ради того, чтобы целыми часами читать...».

Пытливый ум юноши выходил за рамки родительского дома. Алексей бывал на царевококшайских базарах и ярмарках, с любопытством рассматривал

местное население. В его памяти навсегда остались марийцы в белых национальных костюмах, особенно марийки, наряд которых был по-своему красив. «Мы с гувернёром то вдвоём, то в сопровождении Ю-на часто отправлялись верхами в одну из ближайших черемисских деревень, чтобы погулять там, в великолепной еловой роще, перерезанной красивым ущельем-оврагом. Около этой рощи было где-то языческое черемисское мольбище...». А. Луговой обратил внимание на то, что из пяти городских церквей марийцы наиболее посещают две: «нашу приходскую» Входо-иерусалимскую, где отец Алексий Богородицкий «говорил по черемисски», иногда произносил проповеди на марийском языке, и Троицкую, где был «черемисский Христос» - так называли находившееся в этой церкви скульптурное деревянное изображение Христа в темнице. К этому «истинному Христу» марийцы чувствовали особое благоговение, приходили поодиночке или группами, ставили свечи, клали у подножия свёртки холста и сукна, клали деньги в стоявшую рядом кружку. «И очень многие черемисы в день приезда в город посещали обе церкви: Троицкую, чтобы поклониться «своему» «истинному Христу» и нашу Рождественскую, чтобы поклониться нашему батюшке, с которым они вне церковной службы могли перекинуться парой слов на родном языке», - вспоминал А.Луговой.

Когда Алексею исполнилось 14 лет, отец снова женился. В 1867 году он отдал сыновей в Первую Императорскую Казанскую гимназию. Так начались гимназические годы. Алексей поступил сразу в четвёртый класс гимназии. В губернском городе были новые знакомства и встречи. По словам А.Лугового, в гостиницу, в которой он жил и принадлежавшую его отцу и дяде, приходило много «интереснейших типов», — они потом нашли отражение во многих его произведениях. В пятом классе, вследствие переутомления от чтения книг и раннего умственного развития, Алексей заболел. Он лечился в кумысолечебном заведении в Самарской губернии. Путешествие в Самару, по словам А.Лугового, было первым его самостоятельным путешествием. Затем были Москва и столица — Санкт-Петербург. Осенью 1869 г. Алексея отправили на Алатский винокуренный завод в пятидесяти верстах от Казани, в глушь, чтобы «ничего не делать». Здесь, однако, он много занимался, вникал в деревенскую жизнь. Осенью 1870 г. Алексей уехал в Москву, чтобы поступить в Московское техническое училище. На этом настаивал отец. Но зимой того же года у отца случился паралич, и Алексей вернулся в Казань, чтобы заниматься отцовскими торговыми делами. «Я был сын купца, и ничто купеческое было мне в то время не чуждо, — вспоминал А.Луговой. — Я вырос в атмосфере постоянных разговоров о приходах и расходах, о прибылях и убытках.

Мальчишкой я уже понимал, что может быть выгодно и что не выгодно. Скупости в нашем доме не было и в помине, но всякая непроизводительная трата была в моих глазах если не преступлением, то профанацией «искусства хорошо вести торговые дела».

Пробыв с больным отцом один год (молодая мачеха умерла раньше, не оставив детей), А.Луговой уехал в Петербург готовиться к гимназическому экзамену для поступления в университет. Весной 1873 г. он выдержал экзамен на аттестат зрелости и сразу уехал в Казань, рассчитывая поступить на историко-филологический факультет Императорского Казанского университета. Но вскоре приключилась ссора с отцом как результат, по выражению А.Лугового, «наших одинаково неуступчивых характеров». Дела у отца складывались сложно. Сначала сгорел лаковый завод при винокуренном заводе в Царевококшайске, а чуть позднее сам завод и мельница. Постройки были деревянными, и от них остались только каменные трубы и печи. Впоследствии завод был восстановлен.

Отказавшись от всего богатства, Алексей уехал в Петербург с 25-ю рублями в кармане, которые он занял у своего двоюродного брата. В Питере Алексей занимался репетиторством, готовился к поступлению в университет. Но вместо историко-филологического факультета, куда он всегда стремился, поступил в Технологический институт. Вскоре в столицу

приехал отец и «мы помирились. Он назначил мне достаточную сумму на содержание, и я отказался от своего места репетитора».

Пребывание Алексея в Технологическом институте оказалось кратковременным. Состояние здоровья отца ухудшалось, и Алексей, поехав на святки 1874 г. в Казань, чтобы проведать отца, вынужден был остаться там и заняться его делами. «А в мае 1874 года,- писал А.Луговой, - его винокуренный завод в Царевококшайске был передан им в мою собственность, и я сделался постоянным царевококшайским жителем».

«Я вступал в новую полосу моей жизни», - свидетельствовал А.Луговой. Завод был убыточным. Имелись и долговые обязательства. Предстояла большая работа. «Живо помню мой приезд на завод в качестве его владельца,- вспоминал А.Луговой.- Я провёл ночь в дороге, на почтовой перекладной тележке, почти без сна. Приехал ранним утром. Но я и не думал спать, не думал отдыхать. У меня был такой нервный подъём, как будто мне предстояло сейчас идти в битву, из которой я наверняка выйду победителем... Была суббота. Я поспешил обегать все торговые помещения, увидев всех служащих, познакомиться с текущими делами конторы, чтобы не откладывать этого до понедельника. И потом я ходил по дому. О, этот старый барский дом, в котором, с сеньями и передними, было в общем тридцать комнат! Каждый уголок в нём мне был хорошо знаком, в каждом

воскресали дорогие детские и отроческие воспоминания. Он был пуст теперь; все наши переехали жить в Казань. И мне было приятно чувствовать себя хозяином этого дома, приятно занять теперь отцовский кабинет, спать на отцовской кровати, что называлось здесь нашим - назвать моим. Там, где прежде каждый мой шаг зависел от отцовской воли, теперь было моё царство. Не только во всём моём доме, не только во всём моём торговом деле, но и во всём маленьком уездном городке не было никого, кто мог бы как-нибудь и чем-нибудь стеснить свободу моих действий, моих чувств, мыслей».

Вечером, когда, вспомнив детство, Алексей стоял у раскрытого окна, раздался благовест к вечерне. Удар колокола напомнил ему о том, как раньше приходилось всё бросать и идти в храм. «Нервное, почти болезненное состояние охватило меня,- свидетельствовал А.Луговой.- И это впечатление неизгладимо сохранилось у меня до сих пор». Дело в том, что в юношеские годы в Царевококшайске совершился временный отход будущего писателя от религии и церкви под влиянием нигилистических теорий и антирелигиозных идей, охвативших молодёжь и значительные круги интеллигенции. Луговой стал «верить в своего бога» и даже воспоминания об этом периоде своей жизни назвал «Как росла моя вера». Лишь на закате жизни он осознал свои юношеские ошибки, отказался от максималистских суждений о Боге и религии.

С лета 1874 по февраль 1878 года А.Луговой в качестве заводовладельца жил в Царевококшайске. Но это время было так не похоже на то, которое вёл здесь отец. Больших доходов не было. «И я опростился, - вспоминал он. — Я сшил себе пиджачную пару из серого солдатского сукна, надел высокие сапоги, упростил весь склад моей жизни и отказался от всяких нужных или ненужных знакомств с местными жителями». Царевококшайское общество привыкло к новому заводчику. Одни смеялись, другие считали его чудачком, третьи - дельным человеком.

Алексей просто работал, показывал пример всем — и рабочим, и мастерам, и конторщикам. У него возникла идея построить заводское дело на кооперативных началах, хотя сделать это на практике оказалось не так просто. При конторе для служащих новый хозяин устроил библиотеку, в которую выписывал газеты, журналы и разнообразные книги. С выходом в свет «Анны Карениной» Л.Толстого стал изучать этот роман. Каждое лето он путешествовал, побывал в Германии, Италии, Франции, Англии, Северной Америке. Поездки и самообразование всё больше убеждали, что дело ради доходов не может удовлетворить. «И я уже думал о продаже завода на сколько-нибудь сносных условиях, - писал А.Луговой, - чтобы развязаться с винокуренным делом и извлечь из этой продажи хотя бы небольшой капитал для начала какой-нибудь другой деятельности, где я мог бы себе сказать: ты слу-

жишь своей родине и своему народу как настоящий гражданин».

В апреле 1877 г., когда началась русско-турецкая война, Алексей провожал до Киева стоявшую в то время в Казани и отправляемую на Дунай 2-ю пехотную дивизию, где служил один из его друзей. Он даже решил записаться вольноопределяющимся в дунайскую армию, ликвидировать все свои коммерческие дела. Но пока он пытался всё устроить, война кончилась. «Сан-Стефанский договор, - свидетельствовал А.Луговой, - застал меня, однако, вполне готовым к отъезду из Царевококшайска». Он продал завод своему двоюродному брату. «Я, во всяком случае, был доволен своей свободой от торговых уз, и в конце февраля 1878 года покинул навсегда Царевококшайск, чтоб окончательно поселиться в Петербурге. Теперь я наметил себе там новую определённую цель: посвятить себя исключительно литературному труду».

Правда, и в Петербурге Алексей не сразу отрешился от коммерческих дел. Весной 1878 г. он поступил на службу к очень богатому фабриканту и торговцу кожевенными, льняными и хлебными товарами И.И.Алафузову, совершал деловые поездки в Европу, заключал контракты. Вернувшись в Россию, производил ревизии товарных запасов на пристанях рек Вятки и Камы, был во многих уездных городках типа Царевококшайска, что обогатило его новым литературным материалом. Летом 1879 г. он пытался заняться собственным

делом – льняной торговлей, но после событий 1 марта 1881 г., когда революционерами-террористами был убит император Александр II, кредиты из-за границы прекратились, и Алексей заявил о своей торговой несостоятельности. «Все эти обстоятельства настолько расшатали моё здоровье, что мне угрожала чахотка, – вспоминал А.Луговой, – и в апреле 1884 г. я, собрав у разных знакомых небольшую сумму денег и получив от конкурсного управления четырёхмесячный отпуск, отправился сначала в Крым, а затем в Уфимскую губернию на кумыс».

В поисках успокоения Алексей начал писать стихи. Началась литературная стезя будущего писателя. Впечатления детства, царевкокшайские воспоминания, тернистый путь юности давали большую пищу для размышлений и литературных исканий.

15 февраля 1884 г. в московском журнале «Россия» появилось первое печатное произведение – стихотворение-перевод «Из Виктора Гюго», подписанное псевдонимом «А.Луговой». По этому поводу он писал: «Псевдоним избрал исключительно для того, чтобы мои произведения не смешивали с произведениями брата моего Владимира Тихонова, печатавшегося уже раньше под собственной фамилией. К сожалению, некоторые беззаботные литературные хроникёры позволяют себе допускать эту путаницу и сейчас».

Первое стихотворение по первой его строчке «Прощайте женщине её паденье!» стало своеобразным эпиграфом ко многим

произведениям писателя Алексея Лугового – прощение падших, оступившихся, раскаявшихся в своём грехе.

«Виной мы сами! ты богач!

сокровища твои!

Но чистая вода таится и в грязи,
И чтоб она опять прозрачной стала
И снова блеском прежним заиграла,
Ей нужен лишь – таков закон природы
мировой –

Иль солнца луч, иль луч любви святой!»

(Сочинения А. Лугового. Т.1.СПб., 1894.С.1).

Первым беллетристическим (прозаическим) произведением молодого писателя стал рассказ «Не судил Бог», напечатанный в журнале «Вестник Европы» в 1886 г., затем небольшой этюд «Одним часом». Из поэтических произведений было закончено большое стихотворение «Опять на Волге», имевшее биографический оттенок.

« Волга! Я здесь пред тобой с покаяньем,
Исповедь сердца тебе приношу...

Я искупил заблужденья страданьем,

И у тебя новых сил я прошу».

(Сочинения А. Лугового. Т.1. СПб., 1894. С.8.)

Начинающий писатель прошёл через тернии разочарований и неудач, но стал писателем большого ума и таланта. «Мой дальнейший литературный успех, – признавался А.Луговой, – дался мне очень трудно. Почти каждый шаг взят с бою или пройден в терниях». Так, повесть «На курином насесте» была напечатана лишь через полтора года после её написания. Получаемые за публикации гонорары были очень малы, денег всегда не хватало. Летом 1889 г. из Казани

пришло известие о кончине отца. Алексей никакого наследства не получил. Радовало лишь всё возрасставшее литературное признание. Пьеса А. Лугового «Озимь», поставленная весной 1890 г. сначала в Москве в Малом театре, а затем на сцене Императорского Александринского театра в Петербурге, имела необычайный успех. По воспоминаниям А. Лугового, это были самые счастливые минуты его жизни.

Ещё в начале своей литературной карьеры он написал одно из самых популярных, совершенных по форме и идейной содержательности произведений – повесть «Добей его» («Pollice verso»), напечатанную в 1891 г. в журнале «Северный вестник». Признание получили его романы и повести: «Грани жизни», «Тенета». Повесть «Pollice verso» стала настолько известной в России и за рубежом, что русское название этого произведения «Добей его!» сделалось популярным, стало появляться и в текстах статей, и в обыденной речи читателей. Повесть была переведена на немецкий язык, неоднократно переиздавалась за рубежом и, конечно же, в России. Особенно интересным было роскошное издание А.Ф.Маркса 1901 г., иллюстрированное 87 рисунками известного художника А.В.Маковского. Основная идея повести – психология толпы и поведение человека в экстремальных ситуациях. Все сюжеты были взяты из жизни. А.Луговому удалось мастерски соединить подобные ситуации с рим-

ских времён, когда толпа во время боя гладиаторов кричала с трибун «Добей его!», с похожими ситуациями из современной ему жизни. И публика, и критика очень высоко оценили эту повесть, назвав её лучшим произведением писателя. Нашему современнику, к сожалению, это произведение, весьма актуальное, остаётся неизвестным.

Для произведений А.Лугового были характерны изысканность и приподнятость стиля. А. Луговой отличался повышенным чувством своего писательского долга. Он был фанатически предан литературе и звание писателя, подобно знаменитому сатирику М.Е.Салтыкову-Щедрину, считал самым высшим и достойнейшим. «Как автор, - свидетельствовал журнал «Нива», - он никогда ничего не писал наобум, не проверив со всех сторон того, о чём он пишет и что изображает. Редкая добросовестность, с которой А.А.Луговой писал свои произведения, приводила к тому, что он, подобно художнику-живописцу, следил за каждым своим мазком, десятки раз исправлял написанное и писал предварительные этюды – в особенности, если дело касалось чисто описательных или изобразительных мотивов».

А.Луговой со своей супругой Любовью Андреевной, урожденной Егоровой, постоянно проживал в Петербурге на Николаевской улице (дом 4). Но питерский климат не подходил для здоровья писателя, и с 1892 г., по данным В.И.Хрисанфова, он переехал жить в город Лугу Петербургской

губернии, очень полюбил эти места, называя Лугу «русским Баден-Баденом». Здесь он прожил около 20 лет. Сначала снимал дачу, а с 1907 г. переехал в собственный дом на Покровской улице (дом 12).

В 1895-1897 гг. А.Тихонов-Луговой был редактором популярного в России журнала «Нива», вёл переписку с А.П.Чеховым. В качестве редактора «Нивы» А.Луговой отличался редкой отзывчивостью к начинающим писателям и умел вкладывать в них такое же заботливое и бережное отношение к художественному творчеству и уважение к литературе, какими были отмечены вся его личная деятельность и личное творчество. А.Луговой, как редактор, полностью посвящал всего себя журналу, и у него не оставалось досуга для своей личной писательской работы. Это обстоятельство вынудило его в конце концов отказаться от редакторской работы. «И эта, может быть, излишняя щепетильность и повышенное чувство своего писательского долга заставили его отказаться от дела, к которому он был и близок, и, несомненно, более чем способен», - резюмировал журнал «Нива» в 1914 г.

А. Луговой был и беллетристом, и драматургом, и поэтом. По сути дела, он начинал свою писательскую стезю как поэт. Его поэтическое творчество многообразно, но в его стихах доминируют две темы – тема родины, отчего дома и классическая тема любви, верности, сострадания. При этом в контексте его поэтических строк

присутствуют яркие впечатления детства, отчего дома в Царевококшайске, красота вековых лесов левобережья Волги. В стихотворении «Бор», написанном в 1885 г., А.Луговой ностальгически вспоминает о местах своего детства.

«Бежав из каменных палат
Столицы шумной и надменной
В родную глушь, где так смиренно
Мой старый дом и старый сад
Над тихой речкою стоят,-
Я ожил здесь душой и телом,
И радость в сердце запустелом
Проснулась вновь... Давно, давно
Я не был здесь...

Привет тебе, сосновый бор,
Родимый бор. Товарищ детства!
Я снова твой!.. Туманит взор
Слеза, и – юности наследство –
Воспоминанья о былом
В душе невольно воскресают...
Да, хорошо в краю родном!
Здесь всюду надо мной витают
Мечты и грёзы прежних дней,
И я как будто молодею...
И, окружён толпой теней,
В раздумьи сладком цепенею».

(Сочинения А.Лугового. Т.1.СПб., 1894.
С.176-177.)

Целительная магия родных
мест воспета в стихотворении
«Опять на Волге!..».

«Волга!.. родная! красавица! мать!
Кончились годы печальной разлуки:
Волны твои я увидел опять,
Страстно к тебе простираю я руки,
Смело вступаю на берег родной.
Волга! Прими ты усталого сына,
Раны мои ты, родная, омой,-
Раны и скорби дала мне чужбина,-
Ты – дай больному желанный покой».

(Сочинения А.Лугового. Т.1.СПб., 1894.С.8.)



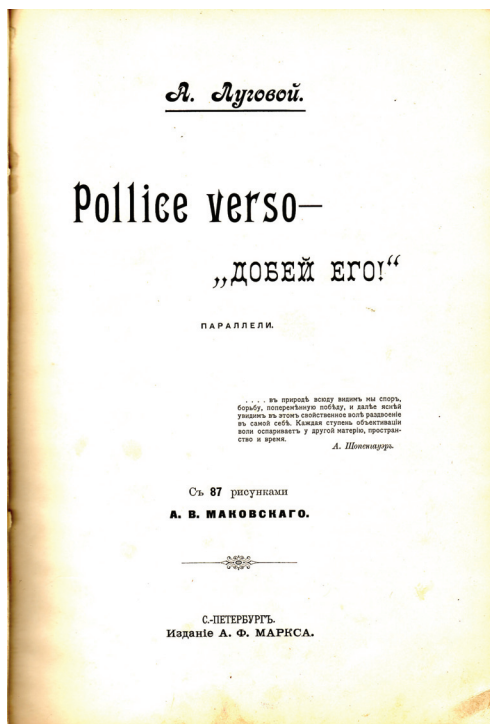
*г.Царевококшайск. Вознесенская улица, на которой жил А.А.Тихонов-Луговой.
Почтовая карточка братьев Козлихиных. 1915-1916 гг.*



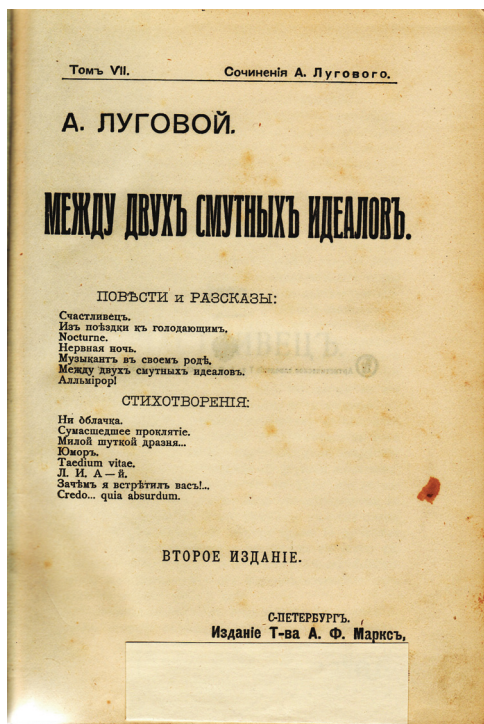
*г.Царевококшайск. Винокуренный завод Булыгина на берегу Кокшаги,
ранее принадлежавший купцу А.Я.Тихонову и ставший собственностью
А.Лугового. Почтовая карточка братьев Козлихиных. 1915-1916 гг.*



А.Луговой с супругой Любовью Андреевной у своего дома в Луге.
Фотография из журнала "Нива". 1914 г.



Титульный лист повести А.Лугового
"Добей его". СПб., 1901 г.



Титульный лист 7-го тома Полного
собрания сочинений А.Лугового.
СПб., 1910-е гг.

Алексей Луговой всегда оставался патриотом. Бывая неоднократно за границей, он всегда скучал по России. Он считал, что человек без Родины, что птица без крыльев. В своём поэтическом творчестве он воспел свою Россию. Гимном Родине стало его знаменитое стихотворение «Русь», где он восхищается её необъятными просторами, славной историей, вековыми традициями. Это удивительная страна, соединившая в себе все начала.

«Имя её – Русь крещёная;
 прозвище ей – Русь мудрёная !
С сердцем незлобным,
 с душой необъятною,
Кажется многим она непонятною.
То без оглядки хвалёная,
 то клеветой клеймёная ;
В горе беспечная, в счастье сердечная;
Кровью за братское дело политая,-
Вот она, матушка Русь именитая!
Будь бесконечная слава ей вечная!»
 (Луговой А. Стихи. СПб., 1912. С. 42.)

В прозаических произведениях А. Луговой часто обращается к провинциальной жизни, образу малого уездного провинциального городка, где местная интеллигенция пыталась обрести истинный путь бытия, увлекалась различными идеями и проектами. Среди учителей, студентов, чиновников были разные люди. Многие из них, впитав идеи нигилизма 60-х гг. XIX века, отрекались от прошлой жизни, впадали в крайности, но потом каялись и осознавали ложность и опасность модных увлечений, разочаровывались во всём. Эта тема нашла отражение и в стихах А. Лугового. В 1892 г. в сонете

«*Taedium vitae*», во многом автобиографическом, он писал:

«Я Истину долго искал, убеждённый,
Что где-то, наверно, таится она,
Что ум, вдохновенной мечтой
 окрылённый,
Спустившись в бездну познания до дна,
Воспрянет оттуда – как бог,
 просветлённый -
И скажет: «великая тайна ясна».
Я думал, что пылом страстей зажжена,
Душа озарит ему путь затаённый.
И вечной загадки решение найдёт.
Напрасно огнём моё сердце горело,
Напрасен ума был пытливый полёт, -

Сквозь Хаос Веков мне навстречу глядела
Бездонная ночь; в ней нашёл я ответ:
Весь мир только призрак,
 а Истины – нет».
(Сочинения А. Лугового. Т. 7. Изд. 2-е. СПб., б. г. С. 70.)

А. Луговой в поисках этой «Истины» прошёл тернистый путь, и всё его творчество проникнуто этими поисками. В 1906 г. он издал литературно-публицистический сборник «Маяк», посвящённый откликам и настроениям того бурного для России времени. Политикой А. Луговой интересовался мало. Он считал, что свобода нужна человеку для полного самовыражения, но она не должна переходить границы. Он отвергал классовую теорию социал-демократов, революционную диктатуру, которая поставит страну на грань катастрофы. Он приветствовал манифест Николая II от 17 октября 1905 г. о введении демократических свобод, но подозрительно относился к либералам. А когда последние называли его националистом, А. Луговой отреагировал на это спокойно, заявив, что он им всегда был, что он всегда был

и останется русским патриотом. В сборнике «Маяк» А.Луговой поместил начало своей громадной и необычной по количеству действующих лиц «политической трагедии» «Максимилиан – император мексиканский». Эта трагедия не была полностью напечатана.

«Свою истину» А.Луговой так и не обрёл. И не потому, что поиски были тщетными, а потому, что забвение Бога Истинного вело по спутанным, ложным путям. На склоне жизни А.Луговой в стихотворении «Верую...», написанном в Луге 13 мая 1910 г., писал:

«Но Жизнь-Судьба,
 сломав тех чтимых мной богов,
Опять влекла меня туда, где Бог Единый
Откроет мне Своих деяний всех причины
С Предвеной Тайны
 сняв божественный покров.

Я много жил: в добре и зле я искусился,
Спускался в ад,
 стоял пред райскими дверьми,
И, духом возносясь над миром и людьми,
Смирить свой гордый ум
 пред Богом научился.

Ему покорен, жду! - Он скажет:
 «Час настал!

Иди за грань миров,
 чтоб жизнью жить иною».
Тогда, покинув плоть,
 бессмертною душою

Я радостно сольюсь
 с Началом всех начал».
(Вестник Европы.1910.№ 7.С.67.)

В 1894-1901 гг. вышло 5-томное собрание его сочинений, а в 1910-1912 гг. в издательстве А.Ф.Маркса было опубликовано полное собрание сочинений писателя в 12 томах. В 1912 г. отдельным сборником в типографии

«Общественная польза» были опубликованы все стихи А.Лугового.

В феврале 1909 г. исполнилось 25-летие творческой деятельности А.Лугового. От официальной чествования он отказался. Писатель получил десятки писем и телеграмм от друзей, почитателей его таланта. Одно письмо было получено из Баку от Ефима Исидоровича Ширшева, который общался с А.Луговым ещё в Царевококшайске в 1874 г. Писатель был очень рад этому письму и направил своему приятелю по Царевококшайску свою фотографию на память. Большое содействие в материальном плане А.Луговому оказывал литературовед Н.А.Котляревский. Писатель был в переписке и часто общался с известным юристом А.Ф.Кони, поэтом А.А.Коринфским. Но в целом он вёл достаточно уединённый образ жизни, не примыкал ни к одному литературному течению, не любил славу и почести, вёл постоянную борьбу с нуждой, болезнями и недугами, включая литературные. В отличие от других русских писателей, А.Луговой не нашёл отражение в русской иллюстрированной открытке того времени. Долгие поиски открытки с портретом А.Лугового автором этой статьи пока остаются безрезультатными. По-видимому, писатель не давал согласия на выпуск открыток с его портретом. Только один портрет А.Лугового кисти художника И.К.Пархоменко фигурировал на одной из выставок и, как отмечает В.И.Хрисанфов, пор-



А.А.Тихонов-Луговой в молодости. Фотография из журнала "Нива". СПб., 1914 г.

трет пришёлся по душе писателю, так как художник больше отразил в нём писательскую сущность.

1914 год особенно был трудным для А.Лугового. Тяжёлое материальное положение, большие долги, болезнь, смерть брата Владимира в Петербурге надломили силы писателя. В сентябре друзья перевезли А.Лугового в Петроград для лечения и поместили во Французскую больницу на Васильевском острове. 25 октября 1914 г. он скончался в возрасте 61-го года.

После отпевания в церкви при Доме императрицы Александры Фёдоровны для призрения о бедных на Васильевском острове, траурная колесница с прахом почившего была направлена в Лугу, где писатель был погребён на местном кладбище.

В статье «Памяти Лугового» журнал «Нива» писал: «Это был писатель на редкость культурный и сумевший культивировать и разработать данный ему от Бога талант... Как беллетрист, он несомненно принадлежит к той благородной классической школе русской беллетристики, которую освятили Пушкин, Тургенев, Толстой. Изображение реальной жизни сквозь призму объективно-философского наблюдения, любовное отношение к человеку, понимание и прощение его прегрешений, искание правды в мире, в природе и в человеке — таковы те общие черты, которыми отмечено творчество Лугового».